

ПАСЬЯНС ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ

И.Ткаченко

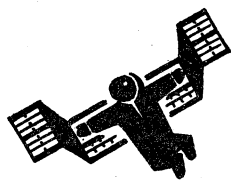
ФАНТАСТИКА



ИГОРЬ  
ТКАЧЕНКО



ПАСЬЯНС  
ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ



**Игорь  
Ткаченко**

**ПАСЬЯНС  
ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ**

**ФАНТАСТИКА**

Москва  
«Молодая гвардия»  
1991

**ББК 84 Р7**  
**Т 36**

На 1-й странице обложки:  
фрагмент репродукции картины  
«Two-Headed Dragon» из альбома  
«The fantastic world by Boris Vallejo».  
На 4-й странице обложки:  
фрагмент репродукции картины «Lavalite World».

**Т36**  
**Игорь Ткаченко. Пасьянс гиперборейцев: Фантастические**  
**повести и рассказы. — М.: «Молодая гвардия», 1991. — 240 стр.**

**ISBN 5-235-01944-7**

В книгу молодого писателя-фантаста, члена ВТО МПФ при ИПО «Молодая гвардия» вошли как уже знакомые читателю повести, так и еще не публиковавшиеся «Эпизоды одного Армагеддона».

4702010201  
Т ————— без объявл.  
078 (02) — 91

**Б5 84 Р7**

**ISBN 5-235-01944-7**

© Игорь Анатольевич Ткаченко, 1991

*Конечно же, любимой жене*

## ЭПИСОДИИ ОДНОГО АРМАГЕДДОНА

Ни по земле, ни по воде  
не найдешь ты пути к гиперборейцам.

*Пиндар*

### ПАРОД

Дальше понятней не станет, поэтому давайте договоримся сразу: глупых вопросов не задавать, а на умные я сам не знаю ответа.

А на все неизбежные «почему, как, откуда» отвечу: потому что, так, отсюда.

У калейдоскопа не спрашивают: почему?

Не спрашивают у облаков: почему собака и зачем верблюд?

И у колоды карт, если только она не в руках шулера, не спрашивают: откуда шестерка, если я хотел туза?

Согласен, можно было применить известную уловку: обозвать эти листки рукописью, найденной на помойке, под кроватью, присланной неизвестным самоубийцей или сброшенной с вертолета, рассыпавшейся и сложенной вашим покорным слугой так, как сложилось, то есть всяческими способами откреститься и встать в сторонке, оставив тем не менее свою фамилию на титульном листе.

Но зачем?

Да и не о том я.

Вот еще: не буду делать оговорки, что все действующие лица, ситуации и учреждения вымышлены. Это не так.

А вот никакого наукообразного обоснования я не знаю и придумывать не стал.

Почему узор в калейдоскопе сложился так, а не иначе?

Почему один раз пасьянс сходится, а потом, сколько ни бейся, никакого толку?

Почему за полчаса до встречи с тем, кого не видел года два и думать забыл о его существовании, он вдруг вспоминается? Или, оказавшись в совершенно незнакомом месте, ловишь себя на мысли, что здесь уже когда-то, очень давно, бывал? А войдя в собственную комнату, вдруг не можешь ее узнать?



Да, а чья это, собственно, физиономия в зеркале по утрам? Моя? Позвольте, а откуда борода и усы?

Нет, нет, вынужден вас огорчить. Мое психическое состояние на известной шкале занимает среднее положение между двумя пограничными — шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. То есть я, как, надеюсь, и вы, совершенно нормален, о чем есть соответствующая запись в соответствующих документах.

Меня зовут Игорь, мне, как и вам, миллион миллионов лет, но я еще не устал и не спешу увенчать себя венком и броситься в море. Когда меня убивают или я умираю сам, я кладу эту карту в самый низ колоды или осторожно поворачиваю калейдоскоп.

А еще меня зовут Самсон и Адраст, Радунк и Димон, Тарнад и Марк Клавдий Марцелл. А еще Гауранга, Радомир и Данда. А еще Вероника, Сцилла и Ольга.

Вас как зовут?

И меня так же.

У меня много имен, всех я не знаю, потому что много узоров в калейдоскопе, велика колода и еще не сошелся пасьянс.

Что касается гиперборейцев, то есть, говорят, такие люди. Солнце у них заходит раз в году и не надолго, земля дает по два урожая, и урожаи те не гниют на корню или в закромах, а сами гиперборейцы отличаются необычайным долголетием, живут счастливо в мире лугов и рощ. Когда их старцы устают от жизни, они, увенчав себя цветами, бросаются в море и находят безболезненную кончину в волнах.

Не туда ли мы стремимся на протяжении сотен своих жизней?

Или когда-то жили мы там, но потом, за какое-то страшное преступление, были изгнаны и вот теперь мечемся, ищем дорогу, вертим калейдоскоп судьбы, вновь и вновь пытаемся сложить пасьянс.

Может быть, так, а может быть, по-другому или вовсе перпендикулярно.

Я честно предупреждал, что на умные вопросы ответа не знаю.

И, наконец, «парод» — это не приятель «пародии». Так назывался проход на оркестру между амфитеатром и зданием сцены, по которому вступал хор, и так же называлась в древних комедиях и трагедиях первая вступительная песнь.

Так что по-нашему, попросту, — это «въезд». И для тех, кто «въехал» —

## ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ

### Строфа 1

Не знаю почему, но возвращаться сюда приятно, и просыпаться приятно не на жарких шкурах в шатре Варланда и уж тем более не на соломенном тюфяке в казарме гладиаторов, а в просторной светлой комнате. И не от полночного воя волколаков, визга нстопырей или хриплого баса децима Беляша, а просто потому, что спать больше не хочется. Выспался до упора. Но можно еще поваляться и лениво поразмышлять, стоит явиться в Институт вовремя или, по неписаному закону понедельника, часам к одиннадцати.

Размышлять, собственно, не о чем: к девяти все равно не успеть, а там того и гляди нарвешься на очередной бзик Мальчику-с-пальчик и доказывай, что приходишь в десять или одиннадцать имешь полное моральное право, потому как уходишь тоже не раньше одиннадцати. И вообще, очень интересно, как это Мальчику-с-пальчик до сих пор не пришло в голову посидеть на проходной до полуночи и посмотреть, когда уходят с переднего края науки те, кого он заставляет писать объяснительные за опоздания.

Давно мечтаю спросить его об этом, да боюсь, как бы старикашку не хватил удар. Он устраивал засады на проходной и блюл дисциплину в период Крутого Порядка, когда одного его слова было достаточно, чтобы нарушитель до конца днсь толкал тачку на рудниках, и во времена Прозрения и Охаивания тоже блюл, а уж как он истово блюл и проверял очереди в универсамах в краткий миг Ренессанса! Сейчас он тоже блюдет, проверяет и устраивает засады, но, конечно же, только по привычке, потому как в эпоху Покаяния и Самосознания никому нет дела до того, кто когда приходит на работу, чем занимается и когда уходит.

Пусть его. Не буду я ничего спрашивать, а буду просто валяться, пока не надосет, лелеять ногу, подвернутую во время ночного бегства по темным коридорам замка Дорвиль, и разглядывать свою комнату.

Комната моя, за которую дед Порота плату взимает чисто символическую, обставлена в лучших традициях царя Леониды:

диван, платяной шкаф, книжная полка, письменный стол и стул со сломанной спинкой. Все имущество мое движимое и очень часто движимое состоит из фанерного чемодана на шкафу, нескольких реквизированных в библиотеках книг, одежды, которую неплохо бы обновить, и двух фотографий над диваном.

Правую я назвал «Тиранозавр пришел умирать на кладбище динозавров». Освещение и ракурс мне тогда удались, умирал зверюга убедительно. Кожа его, в молодости упругая и гладкая, сморщилась, покрылась трещинами, шрамами и бородавками, глаза подернулись мутной пленкой, а некогда мощные задние лапы подогнулись, с трудом поддерживая тяжелый костяк в подобающем повелителю плато Ондера положении. В кадр не вошла растерзанная туша стегозавра, или как там по науке называется шипастое бронированное чудище, едва не ухайдакавшее моего любимца, но так даже лучше.

Вид обреченного гиганта, тихого и задумчивого, стоически ожидающего кончину, наводит на мысли о бренности, преходящести и недолговечности.

Я вздохнул. Ящер всегда был мне симпатичен. И дрался честно: хвост в дело не пускал, подножек не ставил и засад не устраивал.

Все-таки немного жаль, что туда я больше не попадаю.

Вторая картинка (не моего, к сожалению, производства) составляет с первой диалектическое единство: это цветной плакат с длинноногой смеющейся девушкой на фоне невероятно синего моря.

Я вздохнул еще раз, и вздох был намного протяжнее первого.

Уймись, приятель, говорил я себе этим вздохом. Кому как не тебе знать, что такие девушки водятся только в сказочно прекрасных местах, где небо синее и море цвета неба, где всегда тепло, а если вдруг пойдет снег, то непременно огромными пушистыми хлопьями в звенящей лунной тишине, где среди светлых стволов неслышно скользит снежный единорог, и она на его спине задумчивая и прекрасная...

Уймись, приятель!

Там, где ты бываешь, таких девушек нет. Не каждая шестиклассница останется в живых, умудрись ты притащить с собой единорога. А эта твоя разлюбезная девица наверняка подвизается стриптизеткой в закрытом клубе ответработников

среднего звена. От хорошей жизни нагишом на плакат не полезешь.

Ну хорошо, хорошо, даже если это не так, ты не встретишь ее на улице, а если вдруг встретишь, не осмелишься познакомиться. А если познакомишься, не сможешь пригласить куда-нибудь. А если сможешь, то куда пригласить-то?! Не в эту же конуру. Таких девушек нужно приглашать как минимум в отдельную квартиру, а откуда у тебя отдельная квартира? Пока простой смертный дожидается очереди на жилье в родной конторе, кожа его, в молодости упругая и гладкая, сморщится, покроется трещинами, шрамами и бородавками, глаза подернутся мутной пленкой...

Так что, приятель, сам понимаешь...

Комната вдруг стала казаться не такой уж светлой и просторной, обстановка и вовсе убогой, а летнее утро за окном — хмурым и холодным.

За стеной на кухне сердито гремел посудой дед Порота. Из гундосого сопения простуженной радиоточки выяснилось, что наш славный Парадизбург опять переименовали в Новый Армагеддон, что только на моей памяти случалось трижды.

Армию мы нынче сокращаем и сокращение начали с увеличения числа призывников.

Ничего светлого и сияющего на линии горизонта больше не строим, а само существование линии поставлено под сомнение.

Нового, сильного, морально устойчивого и непривлекавшегося больше не воспитываем.

Друг к другу опять обращаемся «сударь» и «сударыня».

Территориальные амбиции западных, восточных, северных, южных, а также срединных территорий признали необоснованными.

С понедельника, то есть с сегодняшнего дня, живем по закону управляемого базара, каковой закон после должного обсуждения сударями и сударынями будет принят единогласно в будущем году.

А глава Совета Архонтов теперь называется не главой Совста Архонтов, а вовсе даже базилевсом, что соответствует моменту, чаяниям, а также гораздо благозвучней для тех, кто говорит на заморских языках.

Такис дела.

Я тихонько присвистнул. С вами, ребята, не соскучишься.

Что-что, а находить себе новые развлечения вы умсете. А впрочем, какое мне до всего этого дело? Никакого. Я здесь человек временный, и чем дальше, тем больше.

Гораздо интереснее и важнее узнать, не натворил ли я чего-нибудь здесь, пока был там, в моем Дремадоре.

Поначалу очень меня это смущало: преследовать стаю нетопырей где-нибудь у черта на куличках, в Дырявых Холмах, и в то же самое время париться на экзаменах в лицее. Бывало и другое: в разговоре увлекался, начинал что-нибудь рассказывать и только после насмешливого «ну ты и брехать, старик» спохватывался, что рассказываю здесь о той, дремадорской жизни, или наоборот.

С дедом Поротой мы так и познакомились. Через полчаса я вдруг обнаружил, что обсуждаем мы с ним не что иное, как присмы скрадывания горных клюванов, тварей мерзких и опасных. Сдастся мне, дед тоже знает способ попадать в Дремадор. Определенно встречал я его там и не один раз. А уж один раз встречал точно: я тогда по молодости и глупости затесался в развеселую компанию гетайров Великого Рогоносца — молодой веселый предводитель, терпкое хиосское вино, головокружительная сладость покорных рабынь, крутой холостежь. А дед Порота был вождем отряда скифских наемников.

Ох и врезали они нам по первое число в харчевне старого Клита! До сих пор вздрагиваю, вспоминая дикие вопли скифов, яростные глаза под надвинутыми на брови островерхими шапками и свист сыромятных ремней.

Иногда мне кажется, что дед Порота тоже меня вспомнил и узнал, но говорить с ним или с кем другим о путешествиях в Дремадор... Скверно это кончается. Склянкой с диэтилдихлорсиланом это кончается. И вспоминать об этом мне больно и стыдно.

Скверное утро.

Дед Порота по-холостяцки завтракал бумажной колбасой, вареными вкрутую яйцами и луком, запивая все сладким чаем. Действо это, выполняемое с каменным выражением бородатого лица, он называл по-солдафонски — «принимать пищу». На мою распухшую лодыжку покосился неодобрительно, но ничего не спросил, буркнул хмуро командирским голосом:

— Бардак.

Что тут возразишь? Я сдержал позыв вытянуться по стойке



«смирно» и гвардейски рявкнуть «так точно!», согласился молча, развел покрепче кофе и, чувствуя внутреннюю готовность все ж таки вскочить и рявкнуть, примостился на подоконнике у раскрытого окна и закурил.

— Съешь чего-нибудь, пузо испортишь, — сказал дед Порота, а когда я отказался, опять подвел итог каким-то своим мыслям:

— Полный бардак.

— Где?

Это было тактической ошибкой, дед завелся с пол-оборота:

— А везде! Куда ни сунься — полный бардак! Как ему не быть? Раз нет порядка, значит, бардак. А порядка, сам знаешь, нет.

Жажда порядка у деда Пороты в крови. Был он кадровым офицером, воевал, немалые имел награды, да вышел у него какой-то конфуз с подавлением мятежа на рудниках. Не то слишком многих он подавил своими танками, не то совсем не тех подавил, кого надо было. Вот и сослали его с повышением в звании в отставку. Из дедовой комнаты, куда я по молчаливому уговору ни разу не заглядывал, доносился частенько какой-то грохот, слышались вопли, бряцанье и урчанье, а иногда тянуло паленым и почему-то мокрыми шкурами.

—...эти, тоже мне, звездные герои! Который уж месяц на орбите болтаются, вернуться не могут. Третий раз объявляют о запуске ракеты, а она все не взлетает. Бардак? Бардак, — дед Порота загибает палец. — Белых лучников я в молодости сам топил, камснюку на шею и в омут, а теперь — пожалуйста! Всю жизнь прожил в тупике Малый Парадиз, а сегодня выхожу — новая табличка висит: проспект Юных Лучников, тьфу! — дед загибает еще один палец. — Жрать нечего, пить нечего, курить нечего. Куда все подевалось? А времена Крутого Порядка ругаем, как же, обидели кого-то, сопатку разбили! Зато, помню, в магазин зайдешь — глаза разбегаются, а сейчас? Шампуня по сто грамм на полгода дают, хочешь сразу на плешь вылей, хочешь — нюхай полгода.

Из загнутых пальцев образовался кулак, и дед грохнул им по столу.

— Не бардак, скажешь?! До чего докатились, призыв объявлен, а в армию народ не идет, западные территории отделяться вздумали, я б им отделился! Чего ж тут удивляться, что в Старом Порту нечисть завелась: ростом с человека, а голова песья.

Разве в прежние времена такое бывало? Зато радуемся, сударь мой, все у нас теперь как у заморцев. Бабе... бня..., тьфу, пропасть, язык не поворачивается! Басилевс теперь у нас, вот! В точности, как у заморцев, пропади они пропадом.

По-воснному безыскусная болтовня эта изрядно мне надоела, а проклятия заморцам вызывали раздражение сродни чесотке, потому что в существование заморцев я никогда особо не верил. Как-то не доводилось мне видеть заморца живьем, а все рассказы о заморских странах воспринимаются как сказка. Красиво, но не бывает.

Я пробормотал вежливо-неразборчиво в том смысле, что как-нибудь все образуется, и украдкой глянул на часы. Уже можно было идти без опасения нарваться на Мальчика-с-пальчик.

— Плюну на все и пойду! — объявил дед Порота. — Хоть бы и в Дружину. Должен же кто-нибудь порядок навести.

Дружина — это что-то новенькое, но деду Пороте наверняка подойдет. Сколько ему, собственно, лет? — подумал вдруг я. Сорок, пятьдесят, семьдесят? Коротко постричь, сбрить эту дикую скифскую бородищу... Десантные высокие башмаки, маскировочную камуфлю, ремень потуже... Ничего себе будет вояка.

— А возьмут в Дружину?

Дед Порота обиделся.

— Кого ж брать, как не меня? — он поддернул рукав, утвердил на столе жилистую ручищу с внушительным кулаком. — Попробуем?

А ведь он, точно, он тогда был со скифами. И кулак этот преотличнейше мне знаком.

— Не хочешь? То-то же! — хмыкнул довольно. — Не возьмут! Пусть только попробуют! Уж мы наведем тут порядок, не в таких местах наводили. Порядок, он порядок и есть. Первым делом в воснных комиссиях поможем, призыв обеспечим, гадам всяким хвост прищемим, а там и еще кой-какие задумки имеются... Это вы, молодежь, все сомневаетесь да языками треплетесь, лишь бы не делать ничего. Нам же сомневаться некогда, мы жизнь прожили. Ты вот тоже хорош: сидишь тут, заболтал меня совсем, а там, небось, работа стоит. Не так, скажешь?

— Уже иду.

Я выбросил окурок за окно, спрыгнул с подоконника и зашкворчал от пронзившей все тело острой боли.

— Э-э-х! Молодежь, молодежь, все-то у вас через афедрон протекает...— Дед Порота сгреб меня в охапку, усадил на табурет.— Давай сюда ногу. По девкам, небось, шляется?

Пока он сильными пальцами мня мне щиколотку, я мужественно мычал.

— Легче, легче, не зажимайся! Не зажимайся, кому говорят! В-о-т! Молодцом. Жениться тебе надо, парень, вот что я скажу. Сколько ж можно кобелировать. Так никогда до мужика не дозреешь, всю жизнь в пацанах пробегашь. Ого! Гляди, что полетело! — удивился он, а когда я поддался на уловку и глянул в окно, резко дернул.

В щиколотке хрустнуло. Я взвыл, потому что...

## Ортострофа 1

...звенит смех Вероники, загорелая, гибкая, она убегает от волн, сбивает ладонями их белопенные вершушки, а рассыпавшиеся по плечам волосы пахнут морем и солнцем, и вся она пахнет морем и солнцем, соленые брызги на податливых губах, пустынная подкова пляжа, удивленно счастливый шепот, прикосновение прохладных пальцев, благодарный стон, и в высоких стаканах на столике под полосатым тентом не растаяли прозрачные айсберги.

Вероника...

До боли реальные воспоминания о том, чего не было.

Воспоминания о том, что будет или могло быть, а пока...

...похожая на колючую проволоку трава ломается с хрустом под башмаками, рассыпается в пыль, от которой першит в горле, глаза слезятся и постоянно хочется чихать.

Замор.

Стало быть — замор.

Будь проклят — замор!

Вылинявшая мокрая от пота камуфля липнет к спине. Ремень автомата с каждым шагом все сильнее врезается в плечо, тянет, гнет книзу.

Сбросить его!

Бесполезное в заморе оружие грохается на землю.

Не забыть бы подобрать на обратном пути.

А вот клинок — двумя руками и покрепче.

И по инструкции — горизонтально перед собой.

И по инструкции — чутко прислушиваться к ощущениям в руках.

И по инструкции — корректировать направление на центр замора, отклоняясь на несколько шагов то в одну, то в другую сторону.

Когда мозги плавятся, надежда только на вколотенную в них инструкцию.

Не расслабляться, не дать замору поймать себя фальшивыми воспоминаниями, предательски красивыми и желанными, как тихая улыбка по ту сторону свечи. Думать о чем-нибудь простом и надежном. Об инструкции по вычислению размеров аномальных областей, попросту заморов. По пунктам. Пункт первый, пункт второй, пункт третий...

И затихает смех Вероники и шорох волн, смывающих на изумрудном песке следы, которых там никогда не было. Громче хруст травы, бурая пыль забивается под камуфлу и в башмаки, жжет кожу, шершавеет язык, клинок тяжелеет.

Атака замора не удалась, медленными и неопасными становятся мысли.

Сунуть сопревшие ноги в таз с водой, откинуться на лавке, банка пива в одной руке и сигарета в другой, отдохнуть полчасика, а кто-нибудь из салажат уже форму надраит и положит аккуратной стопкой рядом на лавку и уйдет на цыпочках, чтоб не потревожить и не схлопотать по ушам. А потом под душ, и состричь ногти, побриться и к Витусу в кантину, и отыграть свой нож, отличный нож, доложу вам, ребята, старой ручной работы, сбалансированный, с рукояткой из кожи клювана, и выпить за тех, кто не вернулся из рейда, и за то, что, хвала Предыдущим, не гробанулись на этот раз, вовремя Малыш Роланд неладное почуял, вот уж у кого чутье! И еще выпить, и отбить какую-нибудь девицу у задастых штабистов, и пить, пока она не станет красивой и куда-нибудь денется, вечно они куда-то деваются, стоит им стать красивыми, а когда Витус закроется, взять у него с собой, и не дать Малышу Роланду влезть в безнадежную драку и орать во всю глотку, до хрипа, и если в патруле будут салаги и

начнут рыпаться, вмазать им по зубам, а если ветераны — дать отхлебнуть, потому как они свои парни и понимают, зачем пьют после рейда.

Чтоб не свихнуться, вот зачем.

Чтоб не озвереть, не провонять псиной и не начать крушить черпа своим и чтоб свои не пристрелили из жалости.

Чтоб не забыть, что кроме этого мира есть другой, где не нужно стричь ногти по два раза на день, где в чистом стакане позвякивают льдинки, и смеются девушки, и следы на изумрудном песке ведут в кружево приборя...

Вероника...

Будь проклят — замор!

### Строфа 2

...взорвалась притухшая было боль, ослепила и рассыпалась фэйсверком.

— Да ты никак сомлел, парень! Очнись, ну очнись же!

Дед Порота совал мне под нос какую-то вонючую дрянь. Я поглубже вдохнул. В голове так просветлело, что из глаз брызнули слезы и волосы на макушке встали дыбом.

— Все, — слабо прошептал я. — Хватит, дедушка, хватит.

— Ну народ пошел хлипкий, ну народ! — озабоченно бормотал дед Порота, чувствительно шлепая меня по щекам. — Я вот помню, меня так один палицей угостил по шишаку... Нога-то как?

Я осторожно пошевелил стопой. Все в порядке, работает, будто и не болела никогда.

Волновало другое: мой Дремадор. В нем сотни миров, но я все чаще попадаю в тот, который нравится мне меньше других. Нет, это слишком мягко. Я терпеть его не могу, потому что он слишком похож на тот, в котором я живу.

И уже на улице я сообразил, что подсовывал мне под нос дед Порота. Помет клювана, сильнейшее лечебное снадобье.

А клюваны водятся там же, в ненавистнейшем из миров.

### Строфа 3

А в новом Армагеддоне, бывшем Парадизбурге, все было как всегда.

Транспаранты на стенах призывали построить, разрушить и построить заново, чтобы было, что разрушать.



Вокруг универсама закольцевалась очередь. Первые, купив, тут же пристраивались в хвост, потому что в одни руки по три штуки, а запас карман не тянет.

Пока я дошел от улицы Святого Гнева до проспекта имени Благородного Безумия, меня трижды записали в партию зеленых, дважды в партию клетчатых, а упитанный молодой человек в черной до колен рубаше, подпоясанный витым шнурком, и яловых сапожках, пристально взглядевшись и поигрывая топориком, выдал мне орластое с золотом удостоверение и сказал, что завтра в семь сорок все наши собираются в трактире «Под лаптем» и идем громить.

На площади перед Институтом, под бюстами постоянных Планка, Больцмана и гравитационной, после интервью с телевизионщиками мирно закусывала компания голодающих девиц из Союза обнаженной души, тела и мыслей. На аппетитные тела, тщаь разглядеть душу и приобщиться к полету мысли, глазели из окон сотрудники Института.

Мальчик-с-пальчик если и встречал зорьку на номерах, засаду свою уже покинул, так что первым, кого я увидел в Институте, был Лумя Копилор, с поясным кошельком похожий на беременного кенгуру. Подпрыгивая и размахивая руками, Лумя безуспешно пытался прикрепить на доску объявлений большой лист ватмана. Я никогда не мог сосчитать, сколько у него рук, но сейчас их явно не хватало. Лист норовил свернуться в рулон, и это ему удавалось.

— Пободи,— пробуюлькал Лумя, не разжимая зубов.— Кбай подебды.

— А?

— Кбай подебды, дебт дебя подеби!

Лумя поперхнулся, дрыгнул толстенькой ножкой, потом выплюнул что-то на одну из ладоней и ясным голосом сказал:

— Мать твою! Проглотил, кажется.

Шевеля пухлыми губами, он пересчитал на ладони кнопки и удрученно сообщил:

— А брал десять. Будешь должен.

Проглоченная кнопка огорчила его из соображений меркантильных, а вовсе не гастрономических. Как-то я был свидетелем, как Лумя съел на спор чайный сервиз вместе с серебряными ложечками и лопаткой для торта. Что до кнопки, так это ерунда, на один зуб, не будь они таким дефицитом в

Институте, а ко всяческому дефициту Лумя уважением исполнен трепетным.

Совместными усилиями непокорный лист был обуздан, и на нем обнаружился выведенный каллиграфическим луминным почерком текст: «1. Феномен замора. Лекция профессора Трахбауэра. 2. Сообщение военного комиссара Ружжо. 3. Единодушное выдвижение Л. Копилора в депутаты Совета Архонтов».

— Разве он не помер? — удивился я, имея в виду не бессмертного комиссара Ружжо, а профессора Трахбауэра, портрет которого в траурной рамке своими глазами видел в газетах.

Лумя фыркнул.

— Конечно помер. Так ведь это когда было! Потом он передумал. Во такой мужик! — Лумя оттопырил большой палец на одной из рук, а тремя другими схватил меня за плечи и горячо зашептал, подмигивая и озираясь:

— Я его в аэропорту встречал, потом в гостиницу отвозил, сам понимаешь, больше некому. Среди ночи с постели подняли. Девочка была — класс! Потом познакомлю, скажешь — от меня. Лумя, говорят, надо! Ну ты ведь меня знаешь...

Лумю Копилора я знал преотлично. Был он лжив, нечистоплоте́н с женщинами, предавал друзей и никогда не отдавал долги, но была, была в нем какая-то гипнотическая липкая сила и от женщин он редко слышал отказ, а друзья отдавали ему последние гроши. И, зная все это, я осторожно попытался высвободиться, но не тут-то было. Моих двух рук против его — уже шести — не хватило. А Лумя кружил, плел, заплетал меня в кокон.

— ...рад, говорит, с вами познакомиться. Большая, говорит, честь для меня. По глазам вижу — честнейший вы человек. Скоро на таких бо-о-льшой спрос будет, так уж вы, говорит, своего не упустите. Вот сейчас, пока мы с вами, как у нас, у заморцев, говорят, в четыре глаза...

— Так он из заморцев? — удивился я.

— Спрашиваешь!

— А переводчик?

Лумя оскорбился.

— Фу! За кого держишь? Таки разве ты забыл, что я по-заморски лучше, чем на родном?! Их-либе-дих-фак-юсслф-гисбснзи-алиментара-пынс-твою-флорь!

Чувствуя, что слабею, я постарался улизнуть в Дремадор, бросив себя здесь на съедение, но то ли плохо старался, то ли момент был упущен, то ли Лумя был вездесущ.

И тогда я сдался, начал впадать в летаргию, веки стали тяжелыми и закрылись. Лумя оплел меня уже в несколько слоев. Желудочный сок впрыснут, жертва начала персвариваться и скоро будет готова к употреблению.

А Лумя журчал и журчал, ткал свою липкую паутину.

—...и по всем, говорит, расчетам начнется это у вас. Случаи с нестартовавшими ракетами указывают безошибочно... Сначала встанут все атомные станции, потом заглохнут реактивные двигатели... тогда они и появятся, морды длинные, собачьи, шерсть жесткая. Какие-то двое, Квинт и Эссенция, они знают, в чем тут соль...

— Лумя, милый,— донесся до меня мой расслабленный голос из глубины кокона.— Отпусти меня на волю, не бери грех на душу. Все, что надобно, все сполню. Отпусти, родимый.

— Совсем другой теренкур! — обрадовался Лумя.— Я всегда говорил, что с тобой можно иметь дело, хоть ты и не от мира сего. Так бы сразу и говорил, что, мол, можешь, дружище, на меня рассчитывать, весь я, Лумя, в твоём полном распоряжении, а то мямлишь, как... Дело, собственно, плсвое...

Я потряс головой, напрягся и — о чудо! — пути ослабли.

— Нету,— твердо сказал я.— Ты мне еще четвертак должен.

Лумя весело рассмеялся, хлопнул себя по бокам и сказал ласково, как ребенку:

— Глупенький. Тебе деньги скоро все равно не понадобятся, я у Ружжо списки видел. Перейдешь ты, сударь мой, добровольно на казенный кошт, а когда вернешься, я тебе все сразу и отдам с учетом инфляции, девальвации и конверсии. Но это все срунда, не про то.— Лумя пригорюнился, покачал головой.— Сердце, сердце у меня болит за тебя. За то, что ты по своей простоте и политической девственности коллектив подвести можешь. Видишь, что здесь написано: «Единодушное выдвижение», так? Кто объявление вешал? Все знают, все видели, мы с тобой его вешали, верно? И представь, какой будет для тебя позор, если вдруг окажется, что выдвижение не единодушное, если ты вдруг по ошибке, без злого умысла проголосуешь не так, как надо, а? Я и не представляю, как ты жить дальше сможешь, как в глаза людям смотреть...

— Лумя,— тихо, но твердо сказал я.— Ламбада.

Лумя окаменел.

Пока окаменевший Лумя Копилор со скрипом поворачивался, провожая взглядом недостижимую свою мечту, от которой не слышал ничего, кроме «нет»,— директорскую секретаршу Сциллу-Ламбаду, прозванную так за головокружительную амплитуду бедерных колебаний, я сбросил с себя остатки кокона и ретировался с максимально возможной скоростью, так и не выяснив, о каких списках говорил всезнающий Лумя и почему мне скоро не понадобятся деньги.

Впрочем, мне было все равно.

#### Строфа 4

Где-то на подстанции запил дежурный электрик, энергию отключили, и Институт Проблем Мироздания погрузился в сонное оцепенение. Компьютеры в теоретическом конце света не считали разложение судеб на нормальные, орто- и парасоставляющие, мертвые экраны терминалов нагоняли тоску, но домой еще никто не собирался. Камерзан устроился у окна и очень переживал за голодающих девиц. Андрей вслух комментировал статью из «Вечернего Армагеддона». Дорофей помогал студенту сочинять введение к диплому и, заикаясь, бубнил:

— Тут д-думать нечего, все давно за тебя п-придумано. Так и п-пиши — великий заморский ученый Био-Савара-Лаплас р-родился в б-бедной крестьянской семье.

Мне было тоскливо и одиноко.

Мне все чаще бывает тоскливо и одиноко в этом суматошном бестолковом мире.

И опять мне подумалось, что все это я когда-то уже видел, и что все это не имеет ко мне никакого отношения. Обсчет на машине никому не нужных бредовых идей наших теоретиков, пустые споры о политике и видах на победу в чемпионате городской футбольной команды, дележка поступающего в Институт дефицита с неизменными ссорами и обидами насмерть. Меня это волновало не больше, чем картинка из колоды, которую я когда-то уже разглядывал. Как скверный фильм в кинотеатре, из которого я всегда могу уйти домой. Или в другой кинотеатр.

А в сущности, мой Дремадор — это длинная-предлинная

улица из кинотеатров, и в каждом идет фильм с одним и тем же главным героем. Нет, не так, с одним и тем же актером в роли главного героя. И актер этот — я.

С тех пор как еще мальчишкой мне впервые довелось попасть в гроздь миров, которую я потом назвал Дремадором, я уже не могу остановиться, только и делаю, что меняю миры и обличья, тасую колоду, верчу калейдоскоп, изредка и ненадолго возвращаясь домой.

СТОП!!!

Если бы я сейчас что-нибудь пил, то наверняка бы захлебнулся. Простая до примитива мысль. Как это раньше она не приходила мне в голову?

Я медленно встал, обошел бубнящего Дорофея, на ватных ногах подошел к окну. Камерзан, не отрываясь от бинокля, посторонился.

За окном был мой родной город. Мой ли? Впервые я в этом усомнился и не смог себя переубедить.

Внизу на площади рядом с девицами собрались какие-то люди, размахивали транспарантами, хором скандировали:

— Копилора депутатом! Ко-пи-ло-ра де-пу-та-том!

От их криков поднялись до небес цены и кружили стайкой над городом, не собираясь снижаться. В длинных заморских машинах в сторону квартала закусочных и киосков сбигутерией промчалась компания рэкетболистов. Постовой отдал им честь, они прихватили ее с собой. К дверям школы подошел седой в замшевом пиджаке, выбрал девчушку посимпатичней, подарил блок жвачки, пообещал подарить еще и увел под завистливый шепот подружек.

Почему я всегда был уверен, что этот мир мой?

Я ничего не сделал, чтобы он стал таким.

Я ничего не сделал, чтобы он стал другим.

Меня здесь ничего не держит. Разве возможно, чтобы этот мир был моим?

Кто это сказал, что после первого же бегства в Дремадор я вернулся туда, откуда ушел?

Кто это сказал, что, повернув калейдоскоп вправо, а потом влево, получишь тот же узор?

Вдруг это просто одна из карт колоды, очередная дверь в очередной кинотеатр с очередным фильмом, а свой мир я потерял навсегда?



Самого себя обокрасть на целый мир!

Я застонал.

— Да,— сказал Камсрзан.— Ты прав. Такие телки и такой дурью маются.

— Да,— сказал Дорофей.— Может быть б-басилевс это хорошо, но лично я за твердую р-руку. Не забудь, завтра в семь сорок.

— Да,— сказал Андрей.— Эта девица из «Вечернего Армагеддона» права, природу не обманешь. Один раз уже пытались, хватит. Наше спасение не в управляемом, а в свободном базаре.

А студент ничего не сказал, ему было на все наплевать, как и мне десять минут назад.

— Нет,— сказал я.— Все не так, ребята. Вы как хотите, а я попробую добраться домой.

Голоса стали отдаляться, таять, издали донесся телефонный звонок, позвали меня. Я взял трубку. Комиссар Ружжо говорил о каких-то списках, я что-то спросил, но ответа не расслышал, потому что шел уже знакомыми узкими улочками Заветного Города, и была тихая ночь, и за ветхими ставнями не было огней, но было все...

### Парастрофа 1

...страшно, потому что Варланд говорил, что ничего со мной в Заветном Городе случиться не может.

Поросшие мохом стены сдвинулись, сжали, выгнули горбом осклизлую мостовую. Я погрозили пальцем, и стены отступили на исходные позиции. Звук шагов бежал впереди меня, заглядывал в темные провалы подворотен, оттуда вылетали стайки серых теней, пугливо шарахались, прятались под карнизами и обиженно хлопали мне вслед лемульными глазищами.

Рядом с неприлично растолстевшей башней Миньки-Астролога дорогу заступило привидение в мерцающих одеждах, протянуло чашу с парящим напитком и простуженным голосом предложило освежиться. Я не поддался на известную уловку, побряцал для острастки клинком в ножнах и ускорил шаг. Гнусаво жалуясь на судьбу и проклиная недоверчивость путников, привидение плелось следом и отстало лишь у монастыря Меньших Братьев, где закипало обычное для полночного часа сражение.

Гвалт на лужайке у монастырской стены стоял до небес, которые благосклонно раздвинули тучи и освещали побоище краешком лунного диска.

Тюрбан, остроносые сапожки и кривая сарацинская сабля сцепились с огромным двуручным мечом и ведрообразным шлемом. Шеренга медных лат охватывала подковой и теснила ко рву с тухлой водой кучку вооруженных дубинами панцирей из сыромятных кож. Угрюмо хэкая, громадный топор едва успевал отмахиваться от юркого трезубца и сети их металлизированных нитей. В дальнем конце лужайки на вытоптанную ботфортами траву летели шляпы с пышными плюмажами и под мелодичный звон скрещивались элегантные шпаги. А у самой стены в ожидании своего часа холодно мерцали в складках плащей стилеты. Их презирали за коварный нрав и вероломство и не брали в компанию.

Под ногами что-то зашевелилось, я отпрыгнул в сторону. Озабоченно шипя, во все стороны расползались пращи. Они набрали камней, со свистом раскрутились и шарахнули ими по кустам, сбивая попутно грифоны со шлемов и увеча павлиньи перья. Своего они добились: из кустов выполз замшелый таран с медной бараньей головой, мутными глазами оглядел веселье, разбежался и тяжело ахнул в монастырскую стену, после чего, вполне довольный развлечением, опять залег в кустах.

Закончилась вечеринка как обычно: проснулась от шума вечно недовольная кулсврина, жажнула картечью по всему этому безобразию, и собравшиеся, грозясь и ругаясь, разбрелись по домам.

Сразу за монастырем, почуяв воду, дорога круто пошла под уклон, а потом и вовсе разделилась на несколько тропинок, которые наперегонки побежали к реке. К Русалочьему омуту за Старой Мельницей мне сегодня не надо, и уж тем более не надо испытывать судьбу на Гнилом Мосту, так что я выбрал самую спокойную и ровную тропинку, которая привела меня к переправе, и старый слепой лодочник уже отвязывал цепь.

Уключины скрипнули, плеснули весла, и лодка поплыла по лунной дорожке к невидимому берегу.

Тихо журчала вода у бортов, несторопливо взмахивал веслами молчаливый слепой старик. Он отвозил только на тот берег, и никто не мог похвалиться, что он отвез его обратно.

— Хорошая погодка, — сказал я, чтобы не молчать.

Лодочник не ответил, зато откликнулось множество голосов в тумане по обе стороны лунной дорожки.

Там пищало:

— Погодка! В день откровения всегда хорошая погода!

Квакало:

— Де-е-нь последний вместе с нами, заходите, кто с усами!

Верещало:

— Придумал! Сказанул! Шестеришь, парнишка!

Потом хриплый бас прикрикнул:

— Тихо вы! Разорались. Погода, как погода, обычная.

И все стихло, только булькнуло что-то в стороне, из темноты на лунную дорожку выплыл любопытный перископ субмарины водяного, но слепец замахнулся на него веслом, и перископ испуганно юкнул под воду.

Показался берег. Днище лодки заскрежетало по песку. Я выпрыгнул, обернулся, чтобы поблагодарить вечного молчальника, но лунная дорожка пропала и лодка растворилась в густом тумане.

Тропинка выскальзывала из-под ног, ветки ивняка больно хлестали по лицу, из чего я заключил, что Варланда или нет дома, или же он работает над новым заклинанием. Разрисованный звездами и кабалистическими знаками шатер Варланда стоял неподалеку от Ушкина Яра, где живет Эхо. Сейчас вокруг было непривычно тихо, только бросившийся было навстречу со свирепым рычанием псаук заластился, узнав, и довольно заурчал.

К Варланду я наведывался не часто. Только тогда, когда этот мир впускал меня к себе. Варланд зажигал светильники в тяжелых шандалах, разливал вино, и уютная неторопливая беседа текла до утра, пока не наступало время гасить звезды. Тогда мы брали с собой стремянку и отправлялись к краю небосклона, а когда работа была закончена, гуляли по окрестностям Заветного Города.

А раз в году, в начале нового витка спирали, Заветный Город оживал, улицы наполнялись празднично одетыми беззаботными людьми, и в шатре Варланда собирались Вечные Странники — маги, волшебники, чародеи, колдуны и провидцы со всех уголков Дремадора, чтобы обсудить новые заклинания, гороскопы, формулы любви и жизни и составить Свод, по которому Дремадор будет жить на протяжении следующего витка.

Семь дней длится работа, а на восьмой начинается праздник со скачками на неоседланных конях, полетами на метле и псаучьей охотой. Вечером Варланд раздвигает шатер, чтобы вместить всех желающих, и маги усаживаются пировать. Льются рекой веселящие напитки и двойной перегонки амброзия, дрожит

от хохота земля после удачных шуток Чилоба, любимца диавардов. В конце праздника слово берет захмелевший бородатый Приипоцэка, рассказывает старый анекдот про своего знакомого со вставной челюстью, а потом, одной рукой поднимая чашу с полынным медом, а другой новый Свод, провозглашает, на какой уровень поднялись в этом году маги и тут же предлагает всем вместе отправиться в путешествие по Дремадору.

Утром Вечные Странники разъезжаются, чтобы собраться вместе через год.

Но Свод! Свод остается на хранении у Варланда.

Я отдернул полог, закрывающий вход, и остолбенел.

Варланд, седьмой сын знаменитого Алинора, бессменный хранитель Свода, предавался банальнейшему упадку нравов. В одной руке у него была жареная баранья нога, в другой руке тоже была нога. Эта вторая нога брыкалась, когда Варланд по ошибке пытался откусить от нее, и голосом известной в Дремадоре порнушницы и стриптизетки Ляльки Гельгольштурбланц капризно верещала:

— Мой педикюр! Ну прекрати же, противный!

Саму Ляльку, закопанную в груды шкур, видно не было.

Варланд положил обе ноги — Лялькину и баранью — на стол, встал и, покачиваясь, шагнул мне навстречу.

— Вот ты и пришел, — сиплю проговорил Варланд. Глаза его смотрели в разные стороны, кудлатая голова клонилась набок. — Все мы через это проходили. Настал твой час выбора.

Он с натугой щелкнул пальцами. Низкий табурет на кривых львиных лапах выскочил из-под стола и больно стукнул меня под колени. Я сел. Варланд устроился напротив, залпом осушил кубок, подпер щеку кулаком и прикрыл глаза.

— Ты усомнился, испугался и прибежал за разъяснениями. Бегущий от одной игры, играет в игру бегства, но кому ведомо правило правил? — проговорил Варланд. — Сейчас ты думаешь, что нельзя быть вечным гостем и каждый путник имеет свой дом, потому что нельзя жить, дорогой, так?

Я не ответил, потому что ничего не понимал. Варланд усмехнулся, осушил еще один кубок и швырнул в угол. Лялька тихонько пискнула.

Варланд продолжал:

— У тебя есть выбор: стать Вечным Странником, как все мы, и иметь сотни миров, или же навсегда забыть дорогу в Дремадор

и прозябать в том мире, который ты очень скоро возненави-  
дишь, потому что он станет для тебя тюрьмой. Выбирай и не  
говори, что выбирать не из чего. И не спеши, у тебя есть время.  
И вспомни, почему ты впервые попал в Дремадор.

## Парастрофа 2

Потолок шатра исчез, сверху падали огромные пушистые  
хлопья, меж белыми стволами скользила неясная тень.

Я чувствовал, что будет дальше, и взмолился:

— Варланд! Не надо, Варланд!

Меня крутило и выворачивало наизнанку, а вокруг плыла  
знакомая тихая мелодия, пушистые волосы щекотали щеку,  
невесомые ладони лежали у меня на плечах, но уже полна,  
полна была страшная склянка...

— Да прекрати же!

Никому я не позволял заглядывать так глубоко. Это было  
мое, только мое, старательно забытое, упрятанное на самое дно,  
туда, где совесть, страх и стыд.

Я зажимал ладонями уши, замуривал глаза, молотил  
кулаками по столу, но боль не приносила облегчения.

...Там была шахта с высокими дымящимися терриконами, по  
которым медленно ползли игрушечные вагонетки. Быстро  
вращающиеся колеса откатки. Поселок в низине.

Дом был в стороне от поселка. Справа от него, поднимаясь на  
холм, уползает в город пыльная дорога, а слева — до горизонта  
— кукурузное поле. Однажды я там заблудился в зеленом  
шелестящем сумраке; когда меня нашли, я спал, свернувшись  
клубочком на теплой земле.

Деревья во дворе. Вишня, старая груша, яблони с клонящи-  
мися к земле тяжелыми ветвями, а у самого порога — разлапис-  
тая шелковица. Царапучая стена смородины и крыжовника  
между летней кухней и калиткой с треснувшей лодочкой-ще-  
колдой.

Надежный и спокойный, это был мой мир. Мой Дом.

Потом, несколько лет спустя, в городе другом, чужом и  
недобром, меня часто мучил во сне один и тот же скрупулезно  
повторяющийся кошмар: будто стою я под сводами огромного  
магазина в середине безмолвно бурлящего людского потока,  
мелькают застывшие маски-лица, руки, раскрытые в крике рты;  
меня толкают, и никто, ни одна живая душа — да и живые ли



они? — не видит, не чувствует, не знает о приближении чего-то ужасного. Я тоже не вижу этого, но отчетливо представляю, не умом, а всем существом своим, каждой клеточкой судорожно напрягшегося тела чувствую приближение из бесконечности какого-то дикого, первобытного, космического ужаса, спрессованного в шар. Это именно так и ощущалось — шар. Я чувствовал, как шар приближается, вращается — это самое страшное: невидимое медленное вращение — сминает ничего не понимающую толпу, вбирает в себя, разрастается, и это вращение...

Я убегал. Поначалу легко и быстро — мелькают улицы, площади, дома, я мечусь по какому-то городу, где все по отдельности знакомо, а вместе — враждебное и чужое. Расталкиваю людей, они беззвучно падают, во вращении исчезают... Бежать все труднее и труднее, и не по улице я бегу, а по невидимой, ноги обволакивающей жиже, каждый шаг дается с трудом. Сзади уже не шар — волна на полмира, нависла гребнем, захлестывает. И вот настигла, уже внутри меня, холодом сжимает живот, перехватывает дыхание, выжимая из груди крик ужаса, боли и отчаяния...

Я вырывался из сна потный и дрожащий, еще слыша отголоски своего крика. Напряженно, до боли в глазах, всматривался в темноту, изо всех сил стараясь больше не заснуть.

А потом — во сне же — я нашел способ, как избавиться от кошмара. Убегая от шара или еще раньше, во сне зная, что сейчас начнется кошмар, я вызывал в памяти образ Дома, бежал к Дому, оказывался в его комнатах, выбегал на крыльцо, отталкивался от второй, скрипучей, ступеньки и, сначала тяжело, преодолевая вязкое сопротивление, плыл над землей, огибал ветви деревьев, столбы, провода, поднимался выше, выше, еще выше...

Я парил над Домом, крохотным с высоты, садом, шахтой, кочегаркой со ставком, над всем своим миром. Чем выше поднимался, тем легче становилось лететь. И вдруг наступало, обрушивалось чувство безотчетного восторга, абсолютного пронзительного счастья, которое высвечивало весь мир изнутри, ласково заставляло каждую жилку трепетать в унисон какому-то невероятно радостному чистому ритму.

Странно безлюден был этот мир во сне.

Я стал населять его. Появилась новая привычка: просыпа-

ясь, зная уже, что проснулся, я подолгу не открывал глаза, стараясь осознанно удержать ощущение счастья, восстановить хотя бы часть ускользающей светлой пелены сна, запомнить мышцами тот ликующий ритм, зацепиться за ниточку, потянуть и распутать клубок воспоминаний и радоваться, если удавалось закрепить в памяти то, что раньше закрепить не удавалось.

В памяти, подобно островам из глубины океана, рождались, казалось, навсегда утерянные подробности.

Запахи моего мира, всегда цветные: блекло-голубой, трепетный — ночные фиалки по вечерам во дворе; табачный, сизый и стойкий, щекочущий ноздри — дед; неуловимая радуга аромата, от которого хочется тихо плакать, — мать...

Наплывами из летней кухни — густые сладковатые волны. Варится кукуруза.

Кукурузу варили в большой зеленой выварке с отбитой ручкой, перекладывали початки зелеными листьями. Оттого и запах. Она варилась нестерпимо долго, зато потом — обжигающий пальцы ароматно парящий початок, посыпанный крупной солью.

Никогда я не сл ничего вкуснее!

Соседка кричит на своего сына: «У сэ высасуй, бисова дытына, усэ! Там вытамын!»

В углу веранды горой — арбузы... нет, не арбузы, этого слова я тогда не знал, знал другое, сахаристо-крупитчатое на изломе, истекающее сладким соком — кавуны. Потом их уберут в погреб, в песок и опилки, чтобы доставать по одному каждое воскресенье, до весны. А пока они горбятся в углу веранды под брезентом. Над одним, откатившимся в сторону и треснувшим, лениво кружат осы.

А утром я шел в осточертевшую школу, безуспешно дрался, терпел насмешки и знал: я не такой, как все. Они живут только здесь, а у меня есть еще и другой, мой собственный, совсем не похожий на этот, мир. И верил: наступит день и из моего мира прилетит самолет, сквозь торосы пробьется собачья упряжка, покажутся на горизонте алые паруса, и тогда, стоя на палубе, поправляя летный шлем или поглаживая жожака упряжки, я прокричу им всем, оставшимся на берегу или за кромкой летного поля: не такой, как все!

...Их было трое. Они преследовали меня везде, просто так, из непонятной детской жестокости, потому что я не был похож на них. В школе, в спортзале, в парке. Валерик, Серый и Кондер.

Валерик больно толкнул в плечо.

— Деньги. Ты обещал нам, скажешь нет?

Серый, прилипала и слабак, тут же подхватил:

— Обещал, обещал, не отнекивайся!

В ладошке, сразу вспотевшей, зажата горстка медяков, сэкономленных на завтраках, а в лавке как раз появился нужный моторчик для лодки. Будь Серый только один, с ним можно было бы справиться. Будь он с Валериком, можно было бы убежать, но рядом переросток Кондер...

Провалиться сквозь землю, испариться, исчезнуть, только бы их не было рядом!

Когда же, когда, наконец, прилетит самолет и почему так долго нет на горизонте парусов?!

Я зажмурился и шагнул вперед, будь что будет!

Шагнул раз и другой, и еще раз шагнул по усыпанному крупной галькой берегу, пока не услышал над ухом насмешливый голос:

— Не споткнись, приятель!

Не было Валерика, Серого и Кондера. Не было ненавистного чужого города, задыхающегося от липкой жары. Было море и причал, терпко пахло водорослями, поскрипывал снастями бриг «Летающий», матросы катили по сходням бочки с китовым жиром, и веселый шкипер в зюйдвестке, перегнувшись через фальшборт, крикнул:

— Эй! Не хочешь ли пойти в юнги, приятель?

Хотел ли я?! Господи! Конечно же, я хотел!

И все было так, как я хотел. Был карнавал в Заветном Городе, и сильный, верный друг — Варланд, и ветер надувал паруса. А когда вернулся домой, выяснилось, что деньги у меня все-таки отобрали, но было не жаль. У меня появилось другое богатство — Дремадор.

А потом появилось еще одно.

Я не знал, где она живет и как ее зовут. Я звал ее Вероника.

Мы встречались в парке, там, где крутой мостик с резными перилами и лебеди скользят по тихой воде. Я не помню ее лица, только запах духов, взмах руки и развевающиеся по ветру волосы.

Может быть, она жила в соседнем доме, а может быть, она мне приснилась. Или я встретил ее в Дремадоре и она просто стеклышко в моем калейдоскопе.

Потом мне хотелось думать, что приснилась.

Я делился богатством, брал ее с собой в Дремадор. Или она брала меня с собой? Какая разница? Мы крутили калейдоскоп, и миры кружились вокруг нас в разноцветном хороводе, и пушистые волосы щекотали щеку, невесомые ладони лежали у меня на плечах...

Когда боишься потерять, теряешь непременно.

— Кондер! Ты погляди-ка, кто здесь! Нет, Кондер, ты погляди!

— А ничего киска. В самом соку. Дай-ка я тебя потрогаю.

Валерик, Серый и отбывший срок Кондер. Осеклась музыка. Мир сжался до размеров крохотной пустой площадки в темном парке.

Может быть, так:

...я выхватил шпагу. Граф Валерик не успел отразить молниеносный выпад и с проклятьями рухнул на каменные плиты. Негодяй Кондер, угрожающе ворча, отступил.

— Мы еще встретимся,— пообещал он, скрываясь в подворотне.

Или так:

...— Сударыня, дорога каждая минута, бегите! Я их задержу!

Не знавший хлыста породистый скакун возмущенно заржал, почувствовав увесистый удар, взял с места в карьер и скоро скрылся за поворотом, унося свою драгоценную ношу.

Я проверил затравку на полках пистолетов и стал ждать.

Или так:

...— Тебе это дорого обойдется, парень!

Я уклонился, и удар пришелся в плечо. От ответного хука Валерик перелетел через стойку и нашел приют среди ящиков с виски, где уже лежал Серый. С Кондером пришлось повозиться, он был здоров, как племенной бык на ранчо Кривого Джека.

— Запиши на мой счет,— бросил я через плечо, когда все было кончено.

Не так. Все не так.

Я просто сбежал в Дремадор. Один. Я не мог до нее дотянуться. Ее закрывала от меня спина пытящего Кондера, а Серый и Валерик держали меня за руки.

Я вернулся. Конечно же, я вернулся. Туда или не туда, не знаю, но Вероники я больше нигде не встречал. Кто-то сказал, что склянка с диэтилдихлорсианом была полна, а от органических ядов не спасают.

Такие дела.

А потом понеслось, закружилось. Я швырял себя из мира в

мир, чтобы найти, забыть или забыться. Чтоб поняли — но кто? или понять — но что? Но время шло, кружились миры, и я вдруг почувствовал, что число тех, в которые я могу попасть, стремительно сокращается, и все чаще я оказываюсь в том невероятном и страшном, которого не может, не должно быть, но он есть и я его боюсь.

— Варланд! Прескрати; Варланд, хватит!

— Да, — сказал Варланд, — хватит.

Он собрал меня, разодранного в клочья, усадил на табурет.

— Хватит, — повторил он. — Порота Тарнад сегодня утром на кухне был прав: пора выбирать, сколько ж можно? Мы все жаждем прекрасного, но что делать с тем ужасным и грязным, что в нас есть? Мы ищем лучшего из миров, но как быть с тем худшим, из которого бежим? Но выбор, выбор есть всегда: стать Вечным Странником и раз в году быть желанным гостем Заветного Города, или...

— Или? — как эхо повторил я. — Или что?

Варланд усмехнулся.

— Все вокруг тебя — это ты. Все вокруг меня — это я.

— Ну и что? — нетерпеливо сказал я, раздражаясь от его туманной манеры выражаться. — Что с того?

— Нет других миров, кроме тех, которые мы создаем. Ты бежишь из одного мира и попадаешь в другой, но тот, другой, тоже создан тобой!

Я начал понимать, ясности еще не было, но где-то вдали забрезжил огонек.

— А люди? Те люди, что вокруг меня?

— Это тоже ты. Всегда ты и только ты. Это зеркало, в котором ты видишь свое отражение. Есть миры, в которых ты даришь, и есть те, в которых ты отбираешь, предаешь и спасаешь, убегашь и догоняешь.

— Значит, есть мир, в котором Вероника...

— Да, — сказал Варланд. — Конечно, есть.

— А ты? Кто ты?

— Вечный Странник. Я вырвался из заколдованного круга миров. Тебе это еще предстоит, и тогда ты будешь жить долго и счастливо, и умрешь, когда захочешь сам. А сейчас иди и помни: выбор есть всегда.

### Строфа 5

- Поздравляю,— сказал Камерзан.— Не ожидал.
- П-поздравляю,— сказал Дорофей.
- Андрей тоже пожал мне руку и сказал:
- Ну, старик, от всей души! Поздравляю!
- С чем?
- Ишь, скромник! Только что записался у Ружжо в добровольцы и еще спрашивает!

## ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ

### Строфа 1

Может не сработать закон всемирного тяготения или правило буравчика, может отказать закон больших чисел и, если надо зачеркнуть нужные пять из тридцати шести, то зачеркнешь нужные пять из тридцати шести, может отказать и не сработать все, что угодно, кроме закона вселенского схи́дства. Его формулировка, как и все гениальное, проста: если неприятность может случиться, она непременно случится. И заветная карточка с выигрышными номерами почему-то оказывается неотправленной, молоко закипает именно в тот момент, когда звонит телефон, а привычный и надежный кухонный кран вдруг превращается в гейзер, окатывает новое платье ржавой водой и лихо разделяется с несмываемым заморским макияжем, превращая лицо в подобие ритуальной маски воинов-маранов.

Мокрая с головы до ног, я несколько секунд ошеломленно наблюдала за весело фыркающей струей, пока не сообразила, что от хрестоматийной ситуация отличается тем, что есть только одна труба, из которой вытекает и ни одной, в которую бы втекало, так что при пассивном отношении к делу кухня очень скоро превратится в бассейн.

Я сделала первое, что пришло в голову: попыталась заткнуть отверстие, образовавшееся после предательского отваливания крана, пальцем. Это было ошибкой. Толстая струя, бьющая в потолок, распалась на множество тонких, бьющих во все стороны разом.

В качестве затычки я по очереди испробовала катушку ниток, крышку от чайника и половую тряпку, пока не вспомнила, что

где-то на трубе есть такая маленькая штучка, которой воду можно перекрыть. Я принялась лихорадочно разбирать завал молочных бутылок под раковиной, обнаружила наконец краник, еще не веря в успех, повернула его и гейзер опал.

Минут десять ушло на то, чтобы развесить мокрое платье и с нервным смешком уничтожить остатки макияжа. Оставшись в одних трусиках, я еще минут сорок собирала тряпкой воду, а когда смогла со стоном разогнуться, времени оставалось ровно столько, сколько необходимо для переодевания манекснице за занавесом подиума Колонного Зала Дворца Совета Архонтов, когда на просмотре новых моделей купальников присутствует супруга базилевса.

Я натянула нелюбимый — потому что колючий — свитер, втиснулась в джинсы — отлично сели после стирки! — массажкой разодрала то, что еще недавно было модной прической, и вылетела из квартиры, решив лицо нарисовать по дороге.

— В редакцию «Вечернего Армагеддона», — выдохнула я, устраиваясь на заднем сиденье.

Извозчик, здоровенный детина, на плечах которого трещала по швам моднейшая заморская куртка, молча покачал головой.

Вот еще новости! Я наклонилась вперед, прочла надпись под фотографией на панели и, чертыхаясь в душе, проворковала:

— Давид Голиафович... Дэвик, очень нужно.

Извозчик поправил зеркальце, я улыбнулась и поправила челку. Он хмыкнул. Целый табун лошадей заржал. Экипаж тронулся.

И вот теперь можно было достать косметичку и заняться фасадом. О дьявольщина! Как я могла забыть?!

— Отбой! Поворот на месте кругом! Дэвик, милый, на площадь постоянных, в Институт, пожалуйста.

Что прошипел сквозь зубы извозчик, я благоразумно решила не расслышать.

Малыш Роланд, мой горе-помощничек, уже ждал в крохотной забегаловке неподалеку от Института, известной тем, что хозяин, безрукий и безногий инвалид, заставлял посетителей самих варить себе кофе.

— Шеф-академик послал меня в далекое далеко, — сообщил Малыш Роланд. В далекое далеко его посылали редко, поэтому реакция Малыша была болезненной.

— Всего-то?

Я уселась в кресло и закурила.

— Брось хандрить и свари кофе. Еще какие хорошие новости?

Малыш Роланд тяжело встал со стула и отправился в угол, где на маленьком столике стояла спиртовка, джезва, сахарница и несколько чашек. На его спине под рубашкой перекатывались могучие мышцы, словно он махал ломом, а не отмеривал крохотной ложечкой кофе. Глядя на него, я вдруг почувствовала жалость, смешанную с изрядной долей презрения.

— Ты со спины похож на извозчика, который вез меня сюда. Тот тоже, наверное, культуризмом тешится.

— Атлетизмом.

— А-а, не все ли равно, — небрежно отмахнулась я и быстро перебила собравшегося возмутиться Малыша. — Вари-вари, опять убежит.

Мне захотелось его позлить. Люблю злить громадных мужиков.

— Слушай, а почему это чем мужик здоровес, тем им легче управлять?

— Ты это о чем? — подозрительно спросил Малыш, разливая кофе.

— Так просто. — Кофе был отвратительный. — Ну и гадость... Ты когда научишься?

Малыш Роланд обиделся.

— На тебя не угодишь. У тебя комплекс. Мужикобия. Что бы мужик ни делал — все плохо. Разбавить?

— Не надо. Ни разбавлять, ни угождать. Знаешь, что сделал бы на твоём месте настоящий мужик? Со словами «Не нравится — вари сама» отобрал бы у меня чашку и выплеснул, — я шлёпнула по протянувшейся руке. — Без подсказки надо, не маленький. Так какие же новости?

Малыш оживился. Парень он неплохой, и с моей стороны, конечно, большое свинство в качестве пробного камня бросать его во всякие сомнительные болота.

— Значит так. Завтра без двадцати восемь черные совместно с Дружиной собираются устроить погром.

— Знаю. Дальше.

— В совете басилевса готовится какой-то странный законопроект... Слушай! Я вообще перестал понимать, что в мире творится! Такое чувство, что катимся мы все в одной бочке к краю пропасти, и в бочке этой все уже смешалось: где была голова, там совсем другое произрастает, а где ноги — уж



вовсе неспотребство. И все делают вид, что так и должно быть. Ты вот, например, знаешь, что встала атомная электростанция, и откуда город получает энергию одному богу известно?

— Знаю.

— А то, что сегодня утром главного ракетного конструктора и пятерых его заместителей послали на рудники, потому что ракета опять не взлетела? А то, что в Старом Порту несколько раз видели собакоподобного человека, тоже знаешь, нет? Так вот, эта тварь якобы прячется в районе складов и уже загрызла троих докеров. Может быть, я съезжу?

— Малыш, милый, — ласково сказала я, и Малыш втянул голову в плечи. — Пойми ты наконец, у нас серьезная газета. И если я, как зав. отделом пропущу материал о каком-то зверочеловеке, через день мы с тобой вместе пойдем искать работу. Ладно, будем считать, что с этим заданием ты тоже не справился. А что все-таки у тебя получилось с шеф-академиком?

— Послал меня в далекое далеко, — пробурчал Малыш Роланд. Беда мне с этими суперменами. Как малые дети.

— Это я уже слышала. Он еще что-нибудь сказал?

— Что у него серьезный Институт. Что профессор Трахбауэр приехал провести теоретический семинар, на котором корреспондентам бульварных газетенок делать решительно нечего. Что это будет закрытое собрание. Что...

— И ты сразу скис.

— А что я мог сделать?

— Не родиться двадцать пять лет назад! Что он мог сделать, что он мог сделать! — передразнила я Малыша. — Это тебе нужно быть на собрании или шеф-академику?

— Ну, мне.

— Вот до тех пор, пока это нужно будет «ну, тебе», всякие занюханые шеф-академики или депутаты Совета Архонтов будут посылать «ну, тебя» в далекое далеко или еще дальше. Ты этого старого маразматика должен был убедить, что это ему просто необходимо твое присутствие на собрании, а тебе, красивому, молодому и сильному, на это глубоко начхать. Просто такой уж ты хороший парень и между делом готов оказать услугу Институту, который по уши в долгах, а с переходом к управляемому базару и вовсе вылетит в трубу. Тебя хоть чему-нибудь учили, а?

Во время этой выволочки красный как рак Малыш Роланд

мужественно играл желваками и молчал. За своим окошком меленько хихикал хозяин забегаловки.

— А не получилось убедить, — безжалостно продолжала я, — подделай пропуск или рывкни для успокоения души на этого думателя и творца истин. Морду ему набей, в конце концов! Мужчина... С работы ты, конечно, вылетишь, зато уважать себя будешь. На кой черт тебе эти мышцы? Плесни немного.

Сердитая начальница, я выпила вторую чашку вполне, кстати, приличного кофе, докурила сигарету, в чашке ее затушила, зная, что Малыш потом все отмоет, и направилась к выходу.

— В Старый Порт сходи, — бросила я через плечо. — Дело гнилое, но на большее ты и не способен.

Малыш чуть не плакал. Мне стало его жаль. Стерва я стерва! Я обернулась и, улыбаясь, боком-боком, покачивая бедрами, с кошачьей грацией подошла к обалдевшему помощнику, на мгновение прильнула к нему всем телом и тут же отпрянула.

— А ведь у тебя ничего начальница, а? — спросила я перед тем как окончательно уйти.

Малыш Роланд, детинушка шестидесятого размера, стоял посреди забегаловки с чашками в руках и нечленораздельно мычал.

Ох и кретины же они все! Кроме, пожалуй, одного...

### Строфа 2

— Ве-ро-ни! Ве-ро-ни! Ве-ро-ни-ка!!!

Чашки я на радостях расколошматил, но старикашка-инвалид внакладе не остался.

— Видал? — спросил я его. — Вероника!

— Красивая, — прошамкал старик, любовно разглаживая протезом розовую купюру. — А в Старый Порт ты все равно не ходи. Это изроды. Дожились, значит. Началось.

### Строфа 3

Мужики — кретины все поголовно, с малыми вариациями кретинизма. А женщины по моей классификации делятся на четыре подкласса: дикие, домашние, одомашненные, бывшие дикие и одичавшие, бывшие домашние. Между любыми двумя из этих категорий не только симпатии и взаимопонимания, но даже простой терпимости быть не может. Поэтому диалог, имевший место в присмной шеф-академика, отличался

удивительной лаконичностью и хорошо скрываемой эмоциональностью.

— У себя?

— Совещание.

— Давно?

— Нет.

— Я подожду.

— Зря.

— И все-таки.

— Как угодно;— прошипела из-за «Роботрона» куколка из тех, кто терпит, когда ее называют «рыбкой», «киской» и — спаси и сохрани! — «лапонькой». Когда им хорошо, они неприступны, чтобы не продешевить. Но когда плохо, с готовностью падают под куст за пирожок с повидлом.

Мне было угодно подождать. Под пулеметный грохот машинки я прошла через приемную, села в кресло для посетителей, закинула ногу на ногу, вынула из сумочки сигареты и прикурила от «киска-рыбкиного» взгляда.

Пулеметная очередь прервалась, потому что зазвонил телефон.

— Конечно, а ты думал, кто-то еще?.. Долго жить буду... Нет, ты же знаешь, сколько у меня работы. И посетители постоянно... Нет, не смогу... А почему так?.. Еще один?.. Уже пятый?.. Какой кошмар, милый... Нет, не рассказывай, я боюсь... Может быть, просто бешеная собака?.. А почему ты так думаешь?.. Ты у меня такой умный... Да, еще бы, каждый раз... Я просто умираю... Нет, не одна... Нет, неудобно... Обязательно. На нашей скамейке... Да, сегодня... А потом выдвижение... Точно не помню... Хорошо, милый, сейчас посмотрю... Да, вот. Копилор... Нет, не знаю. Наверное, из этих... Обязательно прокатят. Никаких шансов... И я тебя... Очень. Везде-везде... И там тоже... Что ты, он совсем старый... И я тебя... Много-много-много... Неудобно... Ну, ладно, мур-р-р...

#### Строфа 4

— Что, съела? Тебе-то не часто так звонят, а? Знаю я вашу породу, мяса толком поджарить не умеешь. Сигареты не наши, с черного рынка. Кури-кури, посмотрю я на тебя лет через десять. И свитерок не наш, заморская шерсть. Дурак какой-нибудь подарил. Не на свои же гроши купила, даром что диплом. Своих и на лифчик не хватает, то-то ты без него. Этим и берешь, пока молодая. А мне и без диплома хорошо. Деньги должен

мужчина давать, зато приходит он ко мне после работы усталый и голодный, а у меня все уже на столе, и я сама красивая и ласковая. А что туфли новые мне шеф-академик подарил, ему знать не обязательно. Твои-то босоножки все, отходили свое!

### Строфа 5

И вот с этим мне, скрипя сердцем, пришлось бы согласиться: босоножки пора менять. Удачно купленные прошлым летом на Побережье — единственное приятное воспоминание о том отпуске — они честно свое отслужили. Подошва еще ничего, а вот верх... Покупка новых окончательно развалит и без того пошатнувшийся бюджет. Разве что быстро написать заказанную статью. Да где их сейчас купишь — хорошие босоножки?!

Дверь в кабинет отворилась, и оттуда строем вышли запортуpeeнные и обпогоненные. Следом появился сам шеф-академик, проводил их до выхода и вернулся.

— Лапонька, до вечера меня ни для кого нет, ясно? А это, собственно...

Но я уже была рядом и, держа шеф-академика под локоток, направляла в сторону кабинета.

Через пять минут он сказал:

— Вы удивительно хорошо выглядите. Как-то особенно свежо, юно...

— Умыто, — подсказала я, незаметно уворачиваясь от готовой опуститься на плечо шеф-академической длани.

— Вот-вот! Как яблочко после дождя.

Еще через пять минут он как бы невзначай накрыл мою руку своей лапищей и утробно пророкотал:

— Переходите ко мне в Институт. Поначалу многого не предложу, а там посмотрим. Вы, надеюсь, не замужем?

Еще через десять минут шеф-академик собственноручно выписал мне пропуск на все совещания в Институте, обсклонявил руку и выразил надежду и желание в скором времени и при более благоприятном стечении, а также в другой обстановке...

Брому тебе, старый хрыч, брому!

Я обещала и выражала уверенность, и от улыбки сводило скулы. Потом гордо пронесла себя сквозь пулеметную очередь и в ближайшую урну выбросила платочек, которым вытерла руку, еще помнящую прикосновение волосатых, толстых, как сосиски, пальцев.

Мужчины...

И все, или почти все, хорошо. И все, или почти все, удастся. И почти счастлива. Но что делать с этим «почти», от которого так тоскливо по вечерам и от одиночества хочется выть на луну?

## Ортострофа 1

Ну все, хватит.

Острие клинка наливалось свинцовой тяжестью, клонилось к земле. Плечи ныли. Я понял: как ни старайся, держать эту железяку я больше не в состоянии. Поднатужился, сунул клинок в ножны, и тотчас пропала сковывающая движения вязкая тяжесть, рассеялась пелена перед глазами и стихли гулкие удары крови в висках.

Штучки замора. Ни понять, ни привыкнуть к этому невозможно.

Я махнул рукой Роланду и в несколько прыжков забросил свое ставшее удивительно легким тело на каменистую площадку рядом с вершиной холма. И вот тут уже можно отряхнуть бурую пыль с рук, припасть к фляжке, смакуя теплую, отдающую ржавчиной воду. Я пил, пока вода не кончилась, и лишь сглотнув несколько раз всухую, сообразил, что фляга была последней, в машине ничего нет, и вообще, стоя почти на вершине холма, я являю собой идеальную мишень.

Я спрятался за обломком скалы и огляделся. На первый взгляд ничего подозрительного: рыжее холмистое плато, с севера на юг рассеченное глубоким свежим разломом. Ржавыми пятнами на склонах холмов — кучи деревьев и колючего кустарника. Почти невидимые за дрожащим маревом Дымные Горы на востоке, и где-то там, у их подножия, дзонг Оплот Нагорный.

А еще дальше — Город. И музыкальные фонтаны, и девушки на ярко освещенных улицах. А еще спекулянты и ученые, воры и рабочие, школьники, старики и стражи порядка. И останься я здесь, под этим проклятым небом, обо мне вспомнят два, ну, от силы, три человека. И то только потому, что я им остался должен.

Я выругался, но легче не стало.

Вверх я старался не смотреть. Казалось бы, небо как небо, и все-таки над замором оно другое. Все чувствуют, и никто толком не может объяснить какое, но — другое. Словно бы холоднее и глубже, и... Чужое! Насквозь чужое и недоброе, как пристально изучающие тебя глаза недруга.

Ну и смотри, хоть лопни!

Я с треском развернул планшет, на глаз прикинул угол схождения, расстояние до каменной осыпи, откуда мы с Роландом начали разведку замора, и принялся наносить на карту его границы.

Добросовестный Малыш Роланд тем временем добрался до вершины холма и только тут опустил клинок, как подкошенный рухнул на землю, в пару глотков опорожнил флягу, вытряхнул капли на ладонь и обтер лицо, оставив на нем грязные следы.

— Ублюдство какое! — выдохнул он, с сожалением разглядывая пустую флягу. — Жарища, мокрый весь, а по спине мурашки бегают, будто справляю я малую нужду в тещин любимый кактус, а она сзади подкралась и наблюдает. Вот такие мурашки, клянусь Предыдущими! — Роланд сжал кулак и сунул мне под нос.

Пара таких мурашек затоптала бы меня насмерть, а он ничего, держится.

— И ведь свежий замор, дней пять-шесть, не больше!

Я кивнул. Мне осталось обвести намеченные точки линий, и работа будет закончена. Роланд был прав: все три обнаруженные нами замора были свежими, трава внутри них была точно такая же, как снаружи. Не появилась еще эта пакостная зелень и не расплодилось обычная в таких гиблых местах мелкая живность.

— И сильный. Вот ведь сильный! Я клинок еле в руках держал, так и подмывало зашвырнуть его куда подальше.

Роланд оперся спиной о валун, расшнуровал башмак, со стоном стащил его и вытряхнул набившиеся камушки.

— Каптер козлина! Вернись — башку скручу. Подсунул-таки обувку на размер больше. Усохнут, усохнут, — передразнил он каптера. — Он у меня сам усохнет. Размера на три.

Он повторил ту же процедуру с другим башмаком, сунул в рот сигарету и чиркнул зажигалкой.

Я хмыкнул. Не было случая, чтобы Малыш Роланд не попался.

До него, наконец, дошло. Он выполнил сигарету и, с ненавистью глядя на зажигалку, не жалея красочных эпитетов, выразил свое непростое отношение к проклятым заморам, где нельзя ничего поджечь, даже сигарету, к негодяю-каптеру, который вот-вот дождется, к легату Тарнаду, который не отпускает его, Малыша Роланда, на пару дней навестить сестренку, к Витусу, который взял моду торговать таким поганым пойлом, что его

нужно вылакать ведра два, прежде чем почувствуешь себя человеком, к сестренке, которая могла бы отлипнуть от какого-нибудь хмыря, который еще схлопочет, и написать несколько строк брату. Досталось и мне, потому что я со слишком умным видом пялился в карту, хотя чего в нее пялиться, и так видно, что через неделю эти три замора разрастутся, сольются в один бо-о-льшой заморище, и тогда тут не то что с клинком, нагишом с шилом не проползешь...

Перебрав всех, кого смог вспомнить, включая полный штат Управления Неизбежной Победы и давно не появлявшихся в дзонге девочек из Когорты Поднятия Боевого Духа, Малыш Роланд уgomонился, замолчал, и тогда стал слышен повисший в воздухе тихий шорох, словно трутся друг о друга песчинки. И потрескивание, с которым пробиваются сквозь слой пыли к солнцу тонкие зеленые ростки.

Мне стало не по себе. Роланду тоже. Звук шел отовсюду, и в самом центре замора, посреди этой нарождающейся незнакомой и потому наверняка опасной жизни, мы вдруг почувствовали себя чужими.

Мы чувствовали — кругом враг.

Мы знали — сго не прошьешь очередью, не стреляют в заморе автоматы. Не подавишь гусеницами, молчат в заморе моторы.

Его можно только бояться и ненавидеть.

Малыш Роланд осторожно поджал ноги и шепотом сказал:

— Вдолинах, где были воспитательные лагеря Предыдущих, живут, говорят, в заморах какие-то чокнутые... Не то таинники, не то пораженцы, не то еще какие уроды...

— Кто говорит?

— Не надо. Не надо, все говорят. А вообще-то, сматываться пора, торчим тут, как чирей на лысине.

— Я, что ли, переобуваться надумал?

Я давно уже поглядывал на «Клюван», уткнувшийся носом в каменную осыпь на границе замора. С бессильно провисшими лопастями и растопыренными лапами упоров машина больше чем обычно была похожа на хищника, у которого позаимствовала имя. Только сейчас хищник казался раненым или больным.

Мне отчаянно захотелось сейчас же, сию минуту очутиться внутри этой бронированной скорлупки, и чтобы магазин пулемета полный, и пальцы на гашетке, и надежный гул мотора, и при-

вычный едкий запах стреляных гильз...

Я захлопнул планшет и встал.

— Все, отдохнули. Сейчас вот что... — договорить я не успел, от бесцеремонного рывка Роланда очутившись на земле.

— Тихо ты! Раскомандовался! — прошипел Малыш Роланд, вдавливая меня в пыль рукой, в которой уже был зажат запашистый башмак. — Кустарник за оврагом видишь? Лесее... То-то же. Влипли. Клянусь Предыдущими, влипли. А ведь, как чувствовал, подумал еще: сидим мы тут на солнышке, чешем... пятки, а они из кустиков на бронетранспортере... Если их много, я не обещаю доставить тебя домой к вечернему землетрясению.

Я убрал руку с башмаком и сплюнул набившуюся в рот пыль. Там, где, по моим расчетам, проходила дальняя граница замора, медленно двигался черный, похожий на кляксу, бронетранспортер изродов.

— Не похоже, что много. Через разлом не переправиться.

— Как они вообще здесь очутились?

— Ты у меня спрашиваешь?

— Если они нас заметили...

— Через замор не пройдут.

— А вдруг?

— Не пройдут. Не слышал я, чтобы изроды через замор проходили.

Малыш Роланд пренебрежительно хмыкнул.

— А что они в этих местах бывают, ты слышал?

Машина изродов тыкалась в невидимую преграду, отползала, разворачивалась, снова устремлялась вперед и снова откатывалась, продвигаясь вдоль границы замора в поисках прохода.

Я облегченно вздохнул.

— Разведка.

И неожиданно для себя добавил:

— Игрушка у меня такая в детстве была: ткнется в стену, разворачивается — и опять. Пока завод не кончится. А выйти-то бояться, гады!

Дальше было все понятно. Укрываясь за валунами, отползти к краю площадки, а когда с бронетранспортера нас уже не смогли бы заметить, вскочить на ноги и припустить вниз по склону к своему винтокрылу.

Малыш Роланд бежал впереди, успев надеть только один башмак, прихрамывал, спотыкался и перемежал проклятья



изродам обещаниями открутить по возвращению каптеру его поганую головенку и все остальное, что можно открутить.

Мне пришлось сделать крюк, чтобы подобрать автомат. Когда я подбежал к машине, мотор уже урчал, а обутий Малыш Роланд, перекрикивая его шум, многословно излагал свои соображения по поводу типов, которым еще лет десять нужно выносить парашу в женском лице, прежде чем им можно будет доверить казенное оружие.

Я запрыгнул на свое место и пристегнулся ремнями. И вот теперь я был дома, и все было в порядке, привычно, знакомо и надежно. Руки сами легли на теплые, отполированные ладонями рукоятки ракетной турели.

Осторожно переступая лапами-упорами, винтокрыл спустился с осыпи, по твердому грунту в облаке бурой пыли быстро засеменил к разлому. У самого края машина остановилась, лопасти поднялись, качнулись из стороны в сторону и с ревом слились в сверкающий круг. «Клюван» завис на мгновение над землей и скользнул в разлом.

#### Строфа 6

Время куда-то шло и возвращаться не собиралось. А этого мне всегда жаль. Вдобавок от духоты и шума разболелась голова, в висках ломило, будто кто-то большой и недобрый зажал мою бедную головушку в тиски и с наслаждением затягивает винт. Сосед слева поминутно вздыхал, оттирал со лба обильный пот и буравил мои ребра острым локтем, а сосед справа, поигрывая ремешком от бинокля, многозначительно улыбался и подмигивал. Профессор Трахбауэр между тем запаздывал, и трибуна перед огромной черной доской пустовала. Чем дальше, тем более сомнительной казалась мне эта затея с интервью у известного заморского ученого. Знаю я этих пытателей природы. Сначала будет разглагольствовать о непреходящем мировом значении своих трудов, о жизни, посвященной служению истине, и о неуловимо высоком полете мысли, а потом очень по-земному попытается затащить в постель. Очень интересно было бы узнать, кто это запустил байку о том, что журналистки вторые по доступности после панельных девочек.

Под громкий смех собравшихся снова ожили расположенные в углах актового зала Института громкоговорители, закахотали, закашляли, но ничем вразумительным разродиться не смогли и

смокли.

Невесть откуда взялась компания чернявых и принялась в боковом проходе торговать сигаретами и колготками.

Оттуда слышалось:

— Памада, девочки, памада, калготы, девочки, девочки, калготы.

Привычно сформировалась очередь. Товар у чернявых скоро кончился, они быстренько испарились, но долго еще стояло в воздухе их липкое «памада-девочки-колготы». Парень справа вскинул бинокль и принялся кого-то усердно лорнировать, прищелкивая языком и облизывая губы. Я передернулась.

—...вали экстренное правительственное сообщение,— рывкнуло вдруг из громкоговорителей, и тотчас мигнул и погас свет, а когда спустя несколько секунд, во время которых я больно ущипнула примостившуюся у меня на колене руку, зажегся вновь, на трибуне громоздился, обхватив ее цепкими ручищами, краснолицый в мундире без знаков различия.

— А кто это?

— Комиссар Ружжо,— буркнул парень с биноклем, потирая руку.

Краснолицый дождался, когда установится относительная тишина, трубно высморкался в кумачовый носовой платок размером со скатерть и пробасил:

— Вот. Ладно. А то шумите, как необученные без дипломов. Стало быть, докладываю к сведению сударев и сударынев оперативную информацию.— Он выдержал паузу и обвел собравшихся строгим взглядом из-под насупленных кустистых бровей.— Доклад профессора Трахбауэра, стало быть, отменяется до выяснения обстоятельств. Тише! Еще ничего не знаете, а уже непонятно. На то я тут и поставлен, а все вопросы потом.

Краснолицый еще раз высморкался. Все хором облегченно вздохнули, когда он наконец прочистил то, что хотел прочистить.

— Из-за неисправности неполадок в технике вы не могли услышать директиву басилевса,— внушительно сказал краснолицый,— но до моего компетентного сведения она была доведена. Так что я, как облеченный доверием, доложу вам стратегию и тактику текущего на сегодняшний день момента.

— Приплыли,— пробормотал парень с биноклем и повернулся ко мне:

— Вам плохо? Я могу чем-нибудь помочь?

Я отрицательно мотнула головой. Но было плохо: в висках стучало, перед глазами вставал розовый туман.

— Стратегия, стало быть, такая, — издалека донесся до меня голос краснолицего, — что в директиве басилевса ясно сказано: никакого Заморья, заморских стран, а, значит, и заморцев никогда не было, нет и не будет. До нынешнего дня была в этом вопросе сплошная дезинформация и провокация с целью дезинформировать и спровоцировать, что выгодно определенным кругам, с которыми мы еще разберемся и пресечем. Всеми доступными средствами вплоть до крайних, — краснолицый многозначительно ткнул пальцем в потолок. — Сами понимаете.

Я ничего не понимала. Остальные тоже. В первых рядах вскочила с визгом какая-то дамочка. Краснолицый досадливо отмахнулся от нее и продолжал:

— А тактика наша самая тактичная и отвечающая моменту. Самые сознательные из вас должны добровольно записаться во вновь формируемые воснизированные отряды защиты наших с вами достижений и завоеваний. Списки я подготовил. Остальные в едином порыве добровольно и безвозмездно жертвуют двадцать три с половиной процента месячной зарплаты в фонд поддержания добровольцев. Женщины и девушки, достигшие совершеннолетия, могут записываться в Когорты Поднятия Босвого Духа. Доклад закончил. Собрание может продолжаться своим чередом и выдвигать на альтернативной основе в депутаты Совета Архонтов сударя Копилора.

Не обращая внимания на поднявшийся гвалт, комиссар Ружжо грузно спустился с трибуны и направился к выходу, доставая из широченных галифе скатертный носовой платок. Походка у комиссара была, как у больного геморроем и паховой грыжей одновременно.

Шумели, топали ногами, кричали, смеялись и плакали все разом. Повсюду в зале появились вдруг полуодетые или вовсе раздетые люди, обалдело разевали рты перед тем как истошно завопить.

— Клипсы! Заморские клипсы!

— Туфли!

— Платье! Босоножки и... о господи!!!

— Сумочка! Гады!

— Кто?! Верните!

— Кто бинокль... — Парень справа держал перед физионо-

мией руки так, как если бы в них был бинокль, только никакого бинокля там не было. Он повернулся ко мне, все еще не опуская рук, и глаза у него полезли на лоб. — Вот ну ничего себе...

Мой свитер, мой нелюбимый, но красивый свитер из заморской шерсти исчез. Обнаружив вдруг это, я инстинктивно прикрылась руками, вскочила, но розовый туман, рассеявшийся было, с тихим звоном заволок все вокруг, сгустился, почернел, а потом мне стало хорошо, тихо покачивалась лодка на волнах, и склонившиеся надо мной что-то ласково говорили добрыми голосами. Кто-то крикнул: «Землетрясение!», и я рассмеялась.

## Ортострофа 2

Разлом впереди расширился, стены расступились. Я понял, что сейчас н а ч н е т с я, поудобнее развернул кресло, прочно уперся ногами в снарядный ящик.

— Приготовились! — приказал Малыш Роланд. И через секунду: — Пошел!

Моторы взвыли, «Клюван» рванулся вверх так, что меня вдавило в кресло и перед глазами поплыли разноцветные пятна. Винтокрыл вылетел из разлома, как пробка из бутылки с кислым вином у Витуса в кантине, и в крутом вираже ринулся на цель.

Малыш Роланд рассчитал все правильно. Мне быстро удалось поймать в паутину прицела приближающийся бронетранспортер. Кончиками пальцев, всем существом я чувствовал, как послушные моей воле поворачиваются кронштейны с ракетами, и, когда смог различить грязь на ступицах колес, плавно утопил кнопку. «Крылан» вздрогнул. Прежде чем Малыш Роланд рванул штурвал на себя, я успел заметить, как две дымные нити связали меня с бронетранспортером, под колесами полыхнуло, черная машина крутнулась и осела на бок.

— Есть! Еще раз!

Малыш Роланд повторил заход, но следующая атака была неудачной. Я поспешил, султаны взрывов выросли впереди бронетранспортера. Изроды опомнились от неожиданности, и навстречу «Клювану» ударили пулеметы. В броне рядом со мной обнаружился вдруг ряд аккуратных круглых дырочек, что-то громыхнуло, запахло гарью, вдребезги разлетелся защитный щиток прицела, полоснув осколками по приборной доске, но «Клюван» уже прорвался сквозь огневой заслон. Крутой свечой Малыш Роланд погасил скорость и завис над бронетранспортером.

— Кончай сопли на кулак мотать! — рывкнул он на меня. — Работай!

Отработанный не раз и не два опасный трюк: развернуться с креслом, сбить ногой в сторону люк, свеситься на ремнях наружу и одну за другой переправить вниз весь запас термитных гранат.

— Ну наконец-то... Сейчас я вас, ублюдки, сейчас...

Бронетранспортер внизу жирно задымил, из него посыпались фигурки в ненавистных черных мундирах.

До сих пор я не чувствовал ни страха, ни ненависти. Все было как на учениях: используя рельеф местности зашли в тыл противнику, нанесли ракетный удар... Но стоило мне увидеть изродов живьем, разбегающихся в разные стороны, отстреливающих, и словно горячая волна окатила меня с ног до головы. Мгновенно произошло каждый раз удивляющее меня потом, после боя, перерождение. Я стал вдруг другим человеком, да и человеком ли... Я скрипел зубами, рычал от переполнявшей меня ненависти, я сросся с пулеметом и сам стал его частью. Меня больше не было, и Малыша Роланда не было, и машины. Было одно существо, могучее и жестокое, сгусток ненависти, извергающий смерть. Мы несли смерть и сами были ею, и лишь когда фонтанчики разрывов догнали последний черный мундир, вспороли его, и изрод, несколько раз перекувыркнувшись, неподвижно застыл, раскинув не по-людски длинные руки и ноги, меня отпустило. Пришло страшное опустошение, как будто отмерла часть души. В горле было сухо. Дрожали руки и колени. И кто-то другой вместо меня сказал хрипло:

— А что? Мы молодцы. По железяке на пуп заработали. Давай вниз.

Малыш Роланд испытывал, похоже, то же самое. Он что-то невнятно пробормотал, голос у него был как у больного. Он без обычного изящества посадил винтокрыл неподалеку от дымящейся груды металла, которая совсем недавно была бронетранспортером, а теперь нашими усилиями стала просто неопасной грудой дымящегося металла, тяжело спрыгнул на землю, прислонился к теплomu борту и закурил. Державшие сигарету пальцы с отросшими за время боя ногтями заметно дрожали.

Я захватил автомат и спрыгнул следом.

— Посмотрим?

Малыш Роланд скривился, мотнул головой.

— Меня от их вони наизнанку выворачивает. Ты там поосторожней, мало ли что.

Я кивнул, передернул затвор и, разминая затекшие ноги, направился к бронетранспортеру в надежде чем-нибудь поживиться. Внутри-то, конечно, делать нечего: ишь, как славно борт разворочен, а вот подобрать пару клинков — уже хорошо. За черные клинки Витус отваливает не скупясь, сбывая их потом перекупщикам втридорога. Или портсигар бы найти, как у легата Тарнада, знаменитый портсигар, дорогой, тяжелый, издалека видно, что дорогой и тяжелый. Или для Вероники какую-нибудь безделушку.

Я обошел едко пахнущую железом и резиной черную громаду бронетранспортера. Через покореженный люк опасливо заглянул внутрь и тотчас отшатнулся, зажимая нос. Вот ведь воняет, падаль!

Я потряс головой, вытер сразу заслезившиеся глаза и увидел лежащего ничком поодаль изрода. Я подошел ближе, осторожно ткнул неподвижное тело носком башмака. Оно было как деревянное. После смерти эти твари сразу костенеют. Я затаил дыхание, чтобы не чувствовать окутывающей изрода вони, и так же, носком башмака, поддел рукоятку и вытащил клинок изрода из ножен. С ножнами стоило бы дороже, но заставить себя прикоснуться руками к этой мерзости я не мог. Я отпихнул клинок в сторону и только тогда поднял. Оружие было тяжелым, матово лоснящимся, опасным.

Я почувствовал вдруг странное онемение между лопатками, обернулся и не сдержал крика.

Так близко живого изрода я видел впервые.

На меня не мигая, в упор, смотрели желтые, с вертикальными зрачками глаза. Изрод чуть присел, готовясь к прыжку, растопырил лапы, ощерил пасть. Из глотки вырвалось клокотание, на клыках заклубилась пена, закапала на мундир.

Несколько долгих мгновений мы неподвижно стояли друг против друга. Не выдержал я. Отпрыгнул назад, метнул клинок, одновременно сдирая с плеча автомат. С тем же успехом я мог вообще не двигаться. Дуло автомата смотрело в землю, а желтые клыки уже клацнули у горла, обдало смрадом, острые когти рванули камуфлю. Автомат отлетел в сторону. Я не устоял на ногах, опрокинулся, увлечая за собой изрода. Спасло футбольное

прошлое: чудом мне удалось в воздухе перевернуться и упасть всей тяжестью на изрода, а когда тот, взвизгнув от боли, ослабил хватку, вырваться из цепких когтей.

Я вскочил на ноги, от души приложился башмаком к оскаленной морде и, подвывая от охватившего меня ужаса, побежал к винтокрылу так, как никогда в жизни не бегал, потому что никогда еще не приходилось мне ощущать на своем затылке жар зловонного дыхания твари, при виде которой у человека возникает лишь одно желание — убить.

Я скорее догадался, чем услышал, что кричит Малыш Роланд, и бросился на землю.

Автоматная очередь разорвала изрода пополам, отшвырнула, смяла, но загнутые черные когти продолжали скрести землю, и неистребимой ненавистью горели желтые глаза. Не помня себя, я принялся ногами месить безжизненное уже тело врага, вкладывая в удары охватившую меня ярость и запоздалый страх и что-то еще, что испугало бы меня, отдавай я себе отчет в том, что делаю.

Подоспевший Малыш Роланд попытался оттащить меня, привести в чувство тумаками. Я вырывался, рычал, видел шевелящиеся губы Малыша Роланда, но смысл слов не доходил до сознания. Во мне бесновался яростный зверь. Наконец зверь стал успокаиваться, я снова стал человеком и дал увести себя к машине, неуверенно попытался улыбнуться непослушными чужими губами, но улыбка не получилась, а слова застряли в горле, когда я увидел поверх плеча Малыша Роланда, как выползает из-за холма бронетранспортер, а чуть подальше еще один.

— А вот теперь влипли, — прохрипел я.

Первый снаряд разорвался совсем рядом, осколками перебило штангу упора и изрешетило борт. Третьего выстрела изродом не понадобилось бы, замешкайся Малыш Роланд со взлетом хотя бы на пару секунд. Но Малыш Роланд не замешкался, «Клюван» был уже высоко и взял курс на дхонг Оплот Нагорный.

## Строфа 7

Вот только этого мне не хватало!

Деввица падала прямо на меня, голая по пояс, с закрытыми глазами, выставив перед собой руки. Я едва успел подхватить ее за плечи. Никогда не терявшийся Камерзан с готовностью и восторгом схватил ее за ноги.

— Уносим! — радостно проорал он. — Пока не отобрали! Дорогу, судари мои, дорогу! Девушке плохо!

Он ринулся в проход, действуя ногами девщины, как тараном, и мне, чтобы не разорвать ее пополам, пришлось бежать за ним.

— Черт знает, что творится! — ликовал Камерзан. — Басилевс молодчина! Один указ — и все заморское — фьюить! Бинокля, правда, жалко. Зато с барышней подфартило. Первым делом — искусственное дыхание, — бодро строил он планы. — Да пропустите же! Дышать придется мне, потому что ты куришь. Осторожнее!

Деввица в сознание не приходила. Мы прорвались в невообразимой кутерьме почти до выхода, но там стоял, загораживая проход, сохраняющий полное спокойствие Лумя Копилор. Всеми своими двадцатью четырьмя руками он сдерживал натиск паникующей толпы.

— Спокойствие! — кричал он, и голос его странным образом перекрывал вопли всех остальных. — Сохраняйте спокойствие! Исчезло только то, что было изготовлено в Заморье, то есть то, чего никогда не существовало. Да здравствует Басилевс! Собрание продолжается. Сейчас мы как никогда раньше должны проявить единство и сплоченность и провести единодушное голосование. Не толпитесь, бюллетеней хватит на всех.

Камерзан взревел и ринулся вперед, поудобнее перехватив ноги девщины.

— Побереги-и-ись!!!

Пол ушел вдруг у меня из-под ног, я споткнулся и опрокинулся на спину, не выпуская девщцу. Сверху посыпалась какая-то труха, многоголосый вопль ужаса взвился к потолку.

— Зсмлетрясение!

— Зсмлетрясение!!

— Зсмлетрясение!!!

— На улицу!

— Окна, откройте скорее окна!

— Да пропустите же!

За первым толчком последовал еще один. Зазвенело стекло.



Откуда-то доносился мощный низкий гул. На меня еще кто-то упал. Зажатый телами, я видел только дверь и размахивающего руками Лумю Копилора, которого не обескуражило даже землетрясение. В руках Луми появился мегафон. Свет погас, и в темноте раздался многоваттный голос Копилора:

— Внимание! Толчки сейчас прекратятся, ничего не бойтесь, здание построено давно, еще до реформ.

Толчки и в самом деле прекратились, а голос Копилора звучал успокаивающе.

— Будьте патриотами, не жалейте, что потеряли то, чего у вас никогда не было. Голосуйте организованно, женщин пропустите вперед. Идите на мой голос.

Мимо меня, наступая на руки, потянулись к выходу люди. Говорили все почему-то шепотом. Когда зажегся свет, в зале осталось совсем немного народа. Со смущенными смешками проходя мимо невозмутимо вежливого Копилора, каждый опускал свой бюллетень в урну.

— Судари, за вас я брошу бюллетени сам,— заботливо предложил Лумя, когда мы с Камерзаном проносили мимо него девицу.— Где знахарская, не забыли?

— Не забыли,— проворчал Камерзан.— Ну жук! Ну ловчила!

И было непонятно, то ли осуждает он, то ли завидует; наверное, завидовал.

В длинном институтском коридоре исчезли висящие под потолком заморские мониторы, остались лишь вбитые в стену ржавые отечественные костыли. Под ногами расплзался и таял заморский линолеум.

Приговор девчушки-знахарки был прост и понятен:

— Голодный обморок. Сейчас нашатырь, а через полчаса — плотный обед и стакан красного вина. А вам, милейший,— обратилась она к сухонькому старичку в клетчатом костюме, с потеряннм видом сидящему в углу на табуретке,— придется еще посидеть.

— Клетчатый старик обеспокоенно заерзал.

— Найдется! Никак не можно. Тридцать пять лет тому давно я у вас уже сидел три год. Мне надо на хаус, а ваш геноссэ сказать, что мой хаус и мой страна никогда не существовать, и я тоже не существовать. Пфуй!

Не обращая на него внимания, знахарка занялась нашей девицей, сунула ей под нос ватку с нашатырем, той же ваткой

протерла виски, заботливо прикрыла грудь простыней. Деввица начала оживать, щеки порозовели, она открыла глаза и фыркнула.

— Может быть, искусственное дыхание? — деловито предложил Камерзан. — Я готов, я умею.

— Доделались! Совсем человека загнали, — грозо рыкнула на него знахарка. — Ну, милая, сосчитай до десяти. Можешь?

Деввица принялась послушно считать. Дверь распахнулась, и в знахарскую стремительно вкатился Лумя Копилор с избирательной урной под мышкой. Клетчатый старикашка обрадованно заблеял.

— Спиртику мне, спиртику, — скороговоркой проговорил Лумя Копилор, старательно избегая смотреть на суетящегося старикашку. — Такая нагрузка, такая нагрузка... Одну только стопочку — и ладненько будет.

Не выпуская урну из рук, он открыл стеклянный шкафчик, налил в мензурку спирта, опрокинул в рот, шумно выдохнул, чмокнул знахарку в щеку, от чего та сразу зарделась, и направился к выходу. Старикашка ухватил его за штанину.

— Айн момент!

— Не могу, не могу, занят, — бормотал Лумя Копилор, пытаясь высвободить штанину. — Да отпусти ты, я тебя знать не знаю!

— Как же так! — возмутился старикашка. — Фы меня встречать, мой чемодан носить, я вам валют давать за услуги, а фы меня не знать! Если фы человек честный, фы должен подтвердить, что я существуй, скажите фсем, что это есть нонсенс, и указ ваш басилевс тоже есть нонсенс...

— Что-о-о?! — страшным голосом спросил Лумя Копилор. — Что ты сказал??

Старикашка ойкнул и съсжился. Пользуясь его замешательством, Лумя вырвал штанину, рывкнул:

— Сказано — не существуешь, значит — не существуешь! — и хлопнул дверью.

Старикашка обессиленно вздохнул.

— Мартышка макаксая! Шимпанзанутая! — слабо выругался он. — Я имею теоретический работ, я предсказывал все, что у фас случиться будет, и я не существуй! Фы только подумайте!

— Да успокойтесь вы в конце концов! — прикрикнула на него знахарка. — Сейчас за вами придут и объяснят, существуе вы или нет.

Старикашка в ужасе взвизгнул:

— Найдн приехать! За мной уже один раз приезжать на черный ворона и очень долго все объяснять. Я понял, все понял! Я не существуй, я не существуй, я не существуй... Я не существуй? — с надеждой спросил он у Камерзана, заботливо поправляющего простыню на девице.

— Что? А, да, конечно, не существуй.

— Я не существуй?

— Нет,— сказал я.— Ни капельки.

— Ну, милая, и как же тебя, бедненькую, зовут?— спросила знахарка у девицы.

— Да-да, и номер телефона, пожалуйста,— вклинился Камерзан.

— Вероника,— ответила девица и вдруг, указав пальцем за наши спины, со стоном вновь откинулась на кушетку.

А потом взвизгнула знахарка и хором выругались мы с Камерзаном.

Старикашка исчезал на глазах. Он стал вдруг прозрачным, сквозь него видна была обшарпанная стена, заколебался, как марево над раскаленным асфальтом, и пропал. Некоторое время еще была различима оправа очков, повисших в воздухе над табуреткой, чуть ниже — галстучная булавка и запонки, а у самого пола — молнии на башмаках, но скоро исчезли и они. Так что когда в знахарскую вломились двое в белых халатах поверх мундиров и грозно спросили:

— Где Трах-мать-вашу-бауэр?

Нам оставалось лишь указать на пустой табурет.

### Строфа 8

Была тьма, и темной была улица, по которой я бежал.

Издалека раскатами грома доносился топот подкованных башмаков Дружины. В переулках звучно целовались, кто-то кого-то бил, избиваемый кричал. Били по почкам и национальному признаку. С треском гнилой мешковины отделялись западные, северные, восточные и южные территории.

Я бежал по темной улице и одну за другой распахивал и захлопывал двери кинотеатров.

Я сидел в уютном кресле у камина и одну за другой выкладывал на инкрустированный столик карты, искал потерянную.

Все было не то, и все было не так. Я этого не хотел.

Я бежал по темной улице, а «Клюван» был уже высоко и взял курс на дзонг Оплот Нагорный. И я, сидящий в машине, не видел, как бронетранспортеры изродов подъехали к месту недавнего боя и остановились. Из них никто не вышел. А когда тени от холмов достигли разлома, из его глубины выплыло сизое облако, накрыло колышущейся густой пеленой машины и трупы изродов. К утру следы боя исчезли, а с первыми лучами солнца сытое облако медленно сползло обратно в разлом.

Лишь мой автомат остался ржаветь в бурой, похожей на колючую проволоку траве.

Я поворачивал калейдоскоп, а принцесса Вероника, привычно опоив мужа и стражу сонным питьем, надела прозрачный пеньюар, зажгла свечу, поставила ее на край окна в угловой башенке замка Дорвиль и приготовила веревочную лестницу.

Она не знала, что муж заподозрил неладное, вылил питье собакам, а сам с верными друзьями в ожидании незваного гостя притаился за уступом стены. В самый интересный момент он ворвется в спальню, и мне не останется ничего другого, как сказать ему:

— Ну здравствуй, дружище.

Я бежал по темной улице, а бриг «Летающий», потеряв в тайфуне мачты и паруса, выбросился на рифы острова Фео, и никто не добрался до берега.

Я поворачивал Калейдоскоп, и Лумя Копилор принимал поздравления, расправлял на плечах мантию депутата Совета Архонтов и искал в справочнике телефон Сциллы-ламбады, которая, в свою очередь, искала телефон Луми Копилора. Они долго звонили друг другу, но телефоны были заняты.

...а на кухне у Вероники сидел несуществующий профессор Трахбауэр и давал интервью. Она поила его кофе, но кофе проливался сквозь несуществующего профессора и лужей собирался на полу. Профессор очень этим смущался и говорил, что тридцать лет назад, когда ему дверью зажимали пальцы, с ним такое уже бывало.

...а симпатичная школьница, щедро одарив подружек жевательной резинкой, говорила, что это совсем не больно, только мама предупредила ее, что если она и впредь не будет сбивать цену, домой пусть лучше не приходит, потому что ей перед соседями стыдно.

...а красавица брюнетка из «Ночных новостей Армагеддона»

между сюжетом о сумасшедшем, который отнес всю наличность в банк, и демонстрацией моделей сезона сообщила, что во время землетрясения никто не пострадал, зато остановились все ядерные реакторы, не взлетают ракеты и реактивные самолеты, а из-под Вечного моря вышел Зверь, и прибрежные дзонги уже всдут бои. Управление Нсизбежной победы отправляет на поле брани легионы добровольцев, все члены Союза обнаженной души, тела и мыслей вступили в когорты Поднятия Босвого Духа и проходят специальное обучение.

...а еще шкворчали утюги в квартале закусочных и киосков с бижутерией, и сквозь вопли сладко пахло паленым мясом.

...а еще взлетели цены над управляемым базаром с рядами пустых прилавков.

...а еще...

Неужели Варланд прав, и все это мое? Неужели все это — я, мерзость этого мира лишь обратная сторона моего бегства в Дремадор? Что же мне со всем этим делать? Я хотел как лучше, я никого не трогал и не хотел, чтобы трогали меня, вот и все.

Я бежал из последних сил, а сзади накатывалось, захлестывало, но нигде не было Дома с шелковицей у порога и не шелестели уютно длинные зеленые листья над теплой землей.

Я распахнул дверь и, споткнувшись, рухнул на колени.

## ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ

### Строфа 1

— Совсем забегался,— сказал дед Порота, помогая мне подняться.— Ну, ничего, там тебя живо приучат к порядку. Не ожидал я от тебя, парень, честно говорю, не ожидал. Я думал, ты так себе, шалопут, а ты вон что, оказывается. Молодец, хвалю.

Дед Порота расхаживал по квартире в высоких башмаках, пятнистых штанах воснного образца и солдатской нательной рубаше и правил опасную бритву.

— Вот оно! Началось! — возбужденно говорил он; отрываясь время от времени от своего благородного занятия и размахивая бритвой у меня перед физиономией.— Я всегда знал, всегда верил, что настанет день, когда придется им туго с их новомодными

шучками, басилевсами и управляемыми базарами. Вот тогда-то вспомнят они Пороту Тарнада и прибегут на цырлах. Мой час настал, мой!

В глазах его полыхал огонь сражений, дикая борода торчала дыбом. Я осторожно, вдоль по стеночке, пробрался в свою комнату и только там обнаружил, что испачкал рубашку синей краской, которой были закрашены заморские страны на политической карте мира, висящей в коридоре. На Заморье мне, честно говоря, было наплевать, есть оно или нет, мне жарче или холоднее не станет, а вот рубашку жаль.

В комнате моей что-то неуловимо изменилось, будто побывал в мой отсутствие кто-то чужой. В воздухе витал легкий запах кожи, гуталина и оружейной смазки, а на письменном столе, точно посередине, лежал серый бумажный прямоугольник с диагональной красной полосой.

«Басилевс и Управление Неизбежной Победы благодарят за проявленную сознательность и настоящим подписывается добровольцу... явиться с вещами... опоздание и неявка расценивается как дезертирство... по закону военного времени...»

Я выпустил бумажку из рук, и она грохнулась на пол, как пудовая гири. Стекла задрожали. В дверь заглянул дед Порота.

— Фу-у-ух, — облегченно выдохнул он. — Я думал, опять землетрясение. Скверная это штука, терпеть их не могу.

Он прикрыл было за собой дверь, но снова распахнул и ткнул в мою сторону бритвой:

— Нет, ты скажи, во времена Крутого Порядка разве были землетрясения? Не было. Потому что — порядок. А сейчас?! А ведь я предупреждал, уж я-то знаю, что говорю, не впервой это на моей памяти. У атлантов так начиналось, и в Лемурии, сам видел, своими глазами. Раз нет твердой руки, значит, разброд и бардак, а где разброд и бардак, там вся грязь наружу прет, голову поднимает, а потом и до изродов рукой подать. Ну уж тут-то я промаху не дам! Порота Тарнад свое дело знает. Да, все забываю тебе сказать, погорячился я тогда в харчевне Старого Клита, ты зла не держи, сам на рожон полез. Такие вот, братец, дела.

Дед Порот грузно протопал по коридору, зашумела вода в ванной. Я опустился на жалобно скрипнувший диван и, дурак дураком, уставился в стену. Динозавр тихо умирал, девица зазывно улыбалась.

Такие вот, братец, дела.

Я ничего не понимал. Ну, хорошо, хорошо, говорил я себе. Успокойся. Вот ты и узнал, что дед Порота тоже знает дорогу в Дремадор. Ты всегда это подозревал, а теперь узнал точно. Что от этого изменится? Ничего. Твои проблемы остаются только твоими проблемами, и решать их тебе.

— Как же так? — спрашивал я у себя. — Варланд говорил, что все вокруг — это я. И я ему поверил. Весь мир вокруг меня — это я. И Порота Тарнад — это я. И Камерзан. И Дорофей. И Вроника. И даже Лумя Копилор — это тоже я. Я родился, и родился мир. Я исчезну, и... Я не верил в заморцев, и их больше нет.

— Не так все просто, — возразил я. — Мир вокруг тебя — это ты. Ты выходишь на улицу в хорошем настроении, и все вокруг улыбаются. Ты зол — и все готовы ринуться в драку. А потом? Что потом, когда ты сворачиваешь за угол? Они — это ты, но ты уходишь, а они продолжают жить. Но они — это ты!

— Я всегда знал, что проживу тысячи жизней, но почему одновременно?! Значит, все знают дорогу в Дремадор, но у каждого Дремадор свой. И дремадоры эти пересекаются, объединяются, образуют сложнейшее кружево, которое и называется — жизнь.

Свеча меж двух зеркал. Зажги ее — и вспыхнут миллионы огней, погаси — и...

Я обхватил распухшую голову руками. Так можно сойти с ума или я уже сошел с ума? Если взглянуть на то, что меня окружает, уже сошел. Сумасшедший бог, который отвечает за все, но не хочет отвечать ни за что? Ничтожный огонек в одном из тысячи зеркал, который хочет одного — чтобы подул ветер и не загалсил?

Кто я? За что отвечаю, а мимо чего могу спокойно пройти, потому что это чужое?

Я вышел в коридор и позвал деда Пороту, у меня было что спросить. Он не отозвался. В ванной и на кухне его не было, я постучал в его комнату и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Деда Пороты тут тоже не было, зато было много всего другого. Была здесь карта незнакомой местности с воткнутыми в нее черными флажками и огромный ящик с песком для тактических занятий. В углу грудой были свалены какие-то доспехи, мечи, щиты, поножи, топорщились пики и сариссы и что-то еще, названия чему я не знал, а островерхая побитая молью скифская

шапка и черная рогатая каска с полуистлевшим ремешком венчали оружейный шкаф, и там жирно поблескивали смазкой пищади, мушкетеры, карабины, автоматы и винтовки слазерными прицелами, а на оцинкованном ящике рядом со шкафом стоял толстенный тупорылый пулемет с заправленной лентой. На другой стене висел большой, в рост, портрет. Дед Порота на портрете был в набедренной повязке из пятнистой шкуры, ликующе орал, запрокинув к небу лицо, и потрясал огромной дубиной. Ногами он попирали изувеченные тела.

Я вздрогнул и отвернулся.

За окном слышались командные голоса. Там маршировали по плацу и выполняли упражнения с оружием и без, а за серыми приземистыми бастиянами тянулось выжженное солнцем холмистое плато с редкими чахлыми деревцами.

Я узнал это место: дзонг Оплот Нагорный в ненавистнейшем из миров Дремадора.

На плечо мне опустилась тяжелая рука.

— Нравится? — спросил дед Порота.

Я обернулся и слова застыли у меня на губах. Дед Порота... Впрочем, назвать дедом этого гладко выбритого здоровяка никто бы не решился. Десантная камуфля с нашивками легата туго обтягивала могучую грудь. Из-за спины торчали рукоятки клинков в заплочных ножнах. Легат Порота Тарнад.

Я покосился на портрет, легат довольно ухмыльнулся.

— Да, — сказал он. — Это тоже я. Где нужна дисциплина и порядок, там появляюсь я.

Он горделиво выпрямился и выпятил подбородок, а мне расхотелось его спрашивать. Не нравился он мне таким выбритым, подтянутым и холодным. Почудилось мне вдруг, что не в новенькой он десантной форме, а все в той же пятнистой шкуре и с дубиной в руках.

Легат Тарнад отечески потрепал меня по плечу.

— Не напрягайся так, — добродушно сказал он. — Отлично тебя понимаю. Молод, горяч, мысли всякие бродят. Это хорошо. А дурь, она в боях быстро обжигается, там рассусоливать некогда. И не заметишь, как мужчиной станешь. Сегодня у тебя последний вечер, напейся, девку какую-нибудь подцепи, чтоб было что вспомнить на марше, а завтра с утра...

Он метнулся вдруг к ящику с песком, навис над ним, пристально вглядываясь в крохотные домики, пушечки и человечков.



Несколько время он что-то разглядывал, неразборчиво бормоча под нос, скрипел зубами, а когда выпрямился, лицо его было перекослено злобой и вытянулось вперед, став похожим на волчью морду.

— Так-с, опоздали,— прохрипел он.— Еще раз опоздали... К вечернему землетрясению... Ну-с, господа, пора...

Он расправил камуфлю, сунув под ремень большие пальцы рук, которых презирают.

Нсужели и это тоже я?

Я заглянул в ящик. Точно такой же был у нас в кабинете по тактике на военной кафедре в университете. Песок и фигурки, сизый дымок с крохотными язычками пламени, искусно сделанными укреплениями, огромный город посередине песчаного острова. Я наклонился ниже, чтобы разглядеть детали. Фигурки двигались! В ближнем ко мне углу ящика из лужицы, окаймляющей песчаный остров, выползали черные машины, выстраивались клином и двигались, плюясь искорками, на укрепления. Сопротивления они почти не встречали, и к вечернему землетрясению все было кончено.

### Ортострофа 1

Там, где был штаб, из-под обломков перекрытий и узлов рваной арматуры еще огрызался короками очередями пулемет; ему вразнобой и негусто вторили развалины казарм, и взрывы гранат наносили ущерб разве что наползающим клочьям тумана.

Группами и поодиночке люди еще пытались как-то организовать оборону, пробиться к ангарам с бронетранспортерами и застывшим на летнем пятаке винтокрылам.

Безумие отчаянья: с начала боя ни одной машине не удалось подняться в воздух, и не перекрестный огонь был помехой. Но люди не верили, что техника, творение их рук и ума, в очередной раз предала их, и бежали, лезли сквозь настильный огонь под защиту мертвой брони.

Так уж были устроены эти люди: надежда покидала их с последним ударом сердца.

Еще ухала раскатисто под покосившейся аркой складских ворот выкаченная на прямую наводку пушконка, и заботливо передавались из рук в руки снаряды.

Еще бросались под гусеницы, обвязавшись гранатами, отчаянные из отчаянных.

Еще...

Впрочем, это было уже все равно.

Тяжелые, матово лоснящиеся черные танки, клином врезав масло укреплений, расползлись по дзону. По-хозяйски наторопливо, уверенные в своей безнаказанности, надвигались на огневые точки, хрипло рывкали, окутывались едким дымом. То, что осталось, основательно перемалывали гусеницы.

Последней умолкла пушчонка. Расчет накрыло прямым попаданием. Рухнула арка ворот. Хрунули под траками снарядные ящики, танк развернулся на месте, вминая в землю кровавые ошметки.

Изроды, не скрываясь, бродили среди дымящихся развалин, делали привычную работу: сноровисто приканчивали раненых ударами клинков в горло, вспарывали животы, за ноги стаскивали трупы в общую кучу, на фоне этой кучи позировали перед объективом. Короткие подкованные сапоги скользили на зыбкой от крови земле.

Двое в черных мундирах и голубых касках, нарочито громко топоча, поднялись по ступеням почти не пострадавшего знахарского пункта, скрылись внутри. Третий, с камерой наизготовку, остался внизу. Ждать пришлось недолго. Изнутри послышался шум, крики, что-то с грохотом обрушилось, и на крыльце появились его приятели, волоча девочку в белом халате. С упрямым лицом, закусив губу, она упиралась обеими ногами и молча отдирала впившуюся ей в запястье когтистую лапу.

Споткнувшись на высокой ступеньке, изрод ослабил на мгновение хватку, девочка вырвалась, но кто-то из подоспевших на шум подставил ей ногу, и она ничком рухнула на землю. Заросшие жесткой рыжей шерстью лапы тотчас вцепились в нее.

Камера тихо жужжала, оператор выполнял свою долю работы — снимал втоптаные в грязь обрывки белого халата, закаченные глаза, разорванный в крике рот, жадно шарящие по телу лапы, оскаленные слюнявые пасти, а когда все закончилось, и черные клинки пригвоздили к ступеням растерзанное тело, вынул из камеры кассету и вложил ее в холодеющую испачканную йодом ладонь.

Как визитную карточку.

Чтоб не ошиблись те, кто придет сюда позже. Чтоб поняли

все так, как надо. И испытали то, что надо. И почувствовали то, что их заставили почувствовать. Это ведь так просто.

К вечернему землетрясению все было кончено.

В последний раз рыкнув моторами, замерли танки. Движения изродов, неувовимо стремительные в начале нападения, замедлились, стали угловатыми и неуклюжими и, наконец, словно повинувась приказу или же просто потеряв интерес к происходящему, с гибелью последнего защитника черные фигуры застыли там, где приказ их застал. Или там, где покинули их силы или иссяк интерес.

К вечернему землетрясению все было кончено.

Живых в дзонге не осталось. Неистовая дрожь земли обрушила то, что еще не успело обрушиться, огонь подобрался к складу с горючим, волной пламени захлестнуло летний пятак, но это уже не могло никому повредить. Изроды растворились в клубах тяжелого, жирного дыма.

А земля все билась в ознобе и никак не могла успокоиться, задавшись целью стереть в пыль развалины дзонга. Порывы ветра раздували пламя пожаров, расшвыривали лохмотья огня, и скоро дзонг превратился в огромный погребальный костер.

Но и этого было мало.

Прорывало нарывы окрестных гор. Выросли на их вершинах султаны дыма, обрушился град камней на изуродованную землю, и по склонам в облаках пара поползли багровые языки, затопили окопы и противотанковые рвы, играючи слизнули с плаца бронетранспортеры, подмяли выгоревшие остовы бастионов.

Дзонг исчез. Лава покрыла его.

Как мазь, которой больной покрывает свои язвы.

## Строфа 2

Я отшатнулся, едва сдержавшись, чтобы не грохнуть кулаком по этому игрушечному кошмару. На мой зов о помощи никто не откликнулся, квартира была пуста. Я вернулся к ящику. Дымились конусы крохотных гор, багрово светилаь между ними, на месте укреплений, расплавленная лепешка. Неподалеку, на расстоянии карандаша, были еще укрепления, и дальше были правильной формы разноцветные лоскуты полей, рощ; змейки дорог рассекали поселки, а еще дальше был город, и по улицам сновали машины.

Бывший Парадизбург, ныне Новый Армагеддон.

Я узнавал знакомые площади, Институт, помпезную грома-

ду здания Совета Архонтов, нашел проспект Юных Лучников и обшарпанную панельную пятиэтажку. Я нашел даже знакомое окно и склонился ниже, чтобы рассмотреть, что за ним, но в этот момент из среднего подъезда выскочил всклокоченный человечек в испачканной краской рубашке, заметался на площадке перед домом, наконец решился, пересек улицу и через сквер с мемориалом Безумству Храбрых направился к центру города. Я недоумевал. В этом районе мне решительно нечего было делать и не жил никто из знакомых, но тот, в рубашке, испачканной краской, которой были закрашены заморские страны на политической карте мира, похоже знал, что делает. На проспекте Благородного Безумия он смешался с толпой пикетчиков и отказников перед зданием управления Неизбежной Победы, и я потерял его из виду.

### Строфа 3

Моя знакомая в одном из тех милых суматошных миров, куда теперь мне нет дороги, в таких случаях говорила, нагрузив на себя тюки с мануфактурой: «Ну и куды бечь?»

Легат Тарнад прав: напиться в последний вечер, а что будет завтра — увидим завтра. Я сунул руку в карман и вынул бумажку с адресом. Почему бы и нет? В конце концов она — тоже мое порождение. Только бы она оказалась дома.

В городе неспокойно. Под горящими вполнакала фонарями кучками собирались настороженные взъерошенные люди, вполголоса переговаривались. Повсюду расхаживали деловитые крепкие ребята из Дружины в длинных черных рубахах и с топориками.

— ...Первые десять легионов завтра входят.

— Два-три массированных удара по побережью, и с этой нечистью будет покончено. На плечах врага — в его логово!

— Семь эскадрилий — и ни один самолет не смог взлететь. Там электроника-то была вся заморская...

— Ерунда! Не паникуй, у меня зять в летунах, так он рассказывал, что есть у них такие ракеты...

— Тихо ты! Дружина... Здорово, ребятушки! С дозором обходите?

— Пошел ты...

— ...крупу не давали, теща с ночи очередь заняла. Раньше

хоть консервы заморские были...

— Эта война будет другой, не то что раньше — стенка на стенку и знай сабелькой помахивай...

— В Старом Порту одного поймали...

— Не поймали, он в доках укрылся, оттуда не выкуришь...

— Не один он был, это десант...

— Все дзонги на побережье взяли, а пленки с видеозаписью в город переслали для устрашения. Детей живьем едят, гады!

— Говорили же старики: видение было. Ходит, значит, баба голая по лугам и лесам и у всех встречных спрашивает...

— Мальчики рождаются — быть войне...

— ...мобилизация...

— ...эвакуация...

— ...диспозиция...

— ...дислокация...

— ...эвакуация... мобилизация... оккупация...

На темной аллее, в сквере у мемориала, меня схватили сзади за локти, умело обыскали, сопя и воня сивухой. Спасло выданное накануне орластое с золотом удостоверение. По глазам хлестнул луч фонарика, и знакомый голос из темноты с сожалением произнес;

— Свой. П-пропустить. П-пусть идет.

Меня отпустили, больно толкнув напоследок в спину, и я пошел на шум голосов, доносящихся с проспекта Благородного Безумия, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Все происходящее было и неприятно, и страшно, но еще неприятнее и страшнее было осознавать, что причина всего этого или часть причины — ты сам.

Перед Управлением Неизбежной Победы, запрудив площадь и проспект, студнем колыхалась толпа, накатывалась на освещенный мертвым светом прожекторов портик, разбивались о высокие ступени, оставляя на них размахивающих руками лидеров. Меж колоннами метался в депутатской мантии с мегафоном в руках Лумя Копилор. С помощью дюжих ребят в черных рубашках ему удалось отбиться от наседающих, рожденных протоплазмой толпы лидеров, и он закричал срывающимся фальцетом:

— Предатели! Вы все предатели! Вы нарушате указ базилевса и достойны лишь презрения! Я плюю на вас!

Лумя и в самом деле плюнул в толпу, а потом быстро укрылся

за спинами дружинников. Он выкрикивал еще какие-то оскорбления, но и того, что было сказано, хватило. Толпа взвыла, захлестнула ступни. Над головами замелькали топоры. Меня затащило в самую гущу давки и вертело, как щепку в водовороте. Вокруг хрипели, стонали, плакали и орали.

— Дави черных!

— Смерть клетчатым!

— Витус! Сюда, Витус!

— Ох, батюшки, что же вы...

— Оружие — народу!

— Они продались заморцам!

— Дави-и-и!

Витус, Витус! Этого хватай, с мегافоном! Дави-и-и...

В то время как большинство рвалось ко входу в управление, неподалеку от меня образовался и стал шириться островок оцепления. Люди там молча и с выражением ужаса на лицах пятились назад, и скоро в центре образовавшегося пустого пространства можно было разглядеть странное, заросшее рыжей шерстью существо с собачей или похожей на собачью мордой. Существо клало зубами, затравленно озираясь по сторонам и выставив перед собой длинные когтистые лапы. Человеческая одежда болталась на нем, как на вешалке. Люди рядом со мной молчали, но я-то знал, кто это, я видел этих тварей в разрушенных дзонтах и на буром плато. В тишине оглушительно громко прозвучал мой шепот:

— Изрод.

Молчание и неподвижность длились еще не больше мгновения, а потом людское море сомкнулось над тварью. Топтали без воплей и молодецкого уханья, молча топтали, на совесть. Задницы напирали на передних и не видели, как со стороны улицы Святого Гнева вырулили и остановились несколько грузовиков с пятнистым брезентовым верхом. Из кузовов быстро выскакивали парни в десантных камуфлях, выстоялись клином и по команде врезались в толпу, с невероятной быстротой работая дубинками и ножами со штыками. Мне почудилось, что мелькнули в толпе островерхие шапки, послышался свист сыромятных ремней, а потом плечи и поясицу ожгло огнем, и все лица слились для меня в одно, орущее победный клич над поверженным врагом.

Потом исчезло и оно. Я обнаружил себя сидящим на тротуаре у стены. Левой рукой я обнимал дымящуюся урну с мусором, а в

правой была зажата бумажка с адресом. Мыслей не было никаких. Откуда-то из далекого далека я безучастно наблюдал, как рослые парни в пятнистом гонят по улице рослых парней в черном, какие-то зеленые бьют клетчатых, а несколько женщин на углупотчат ногами визжащую собачонку, приговаривая:

— Собака! Скотина! Из того же племени, на тебе, получай...

Собачонка вырвалась и метнулась в подворотню. Женщины с воплями двинулись следом.

Господи! Я-то здесь зачем!

Я попал случайно и не хочу оставаться. Это не мое, это не может быть моим. Я ошибся, и Варланд ошибся.

Не мое!!!

Ешьте друг друга посдом, только не трогайте меня, мне нет до вас дела. Жрите, чавкайте, отрывивайте. Дайте только мне найти свое.

А мое — тихий Дом, тихий Дом на окраине поселка и шелест листьев по вечерам, перешептывание звезд и запах ночных фиалок.

Мое — это глаза Вероники и уютное тепло очага.

Мое — это когда мне не мешают быть мной.

Я — единственный здоровый в этом больном мире.

Я нормален. Разве нет?

Я встал на ноги, опираясь спиной о стену. Мимо проплыл длинный открытый лимузин. Лумя Копилор, небрежно придерживая баранку, скользнул по мне невидящим взглядом и сказал сидящей рядом Сцилле-ламбаде:

— Как я их, а? Чистая работа. Лапонька, одерни юбку, я за рулем.

Лапонька что-то промурлыкала и закинула ногу на ногу. Лимузин скрылся за углом, сверкнув ведомственными номерами. Из подворотни вылетел истошный, полный муки визг собачонки, замесался меж стенами и рухнул на грязный асфальт. Женщины со смущенным видом расходились, украдкой вытирая о стены окровавленные руки.

Не мое, не мое, не мое!

Но чем больше я себя убеждал, тем крепче становилась уверенность: твое, приятель, как ни крутись — твое. Пусть не все, пусть тысячная часть, но — твое.

Я расправил смятую бумажку с адресом. Это было совсем недалеко, всего два квартала.

#### Строфа 4

— Бриг «Летающий» вышел в море. я был на капитанском мостике и до рези в глазах вглядывался в горизонт, чтобы не оборачиваться на тающий позади берег. А когда вернулся... В общем, ее уже не было. От органических ядов не спасают.

Сгорбившись, зажав руки между коленями, он сидел за столом напротив меня, по ту сторону свечи.

— А потом закрутило, понесло. Гарем Ашшурбанапала, рабыни Великого Рогоносца, фрейлины Солнечного короля...

Я не рассмеялась, потому что хотелось плакать. Но не от жалости.

— И «Риппербан»? — спросила я. — И «Улица Витрин», и замок Дорвиль?

— И замок Дорвиль, — как эхо откликнулся он. — Много всякого... Я метался из одного мира в другой и не находил потерянное. ЕЕ и Дом.

— ...шелковицей у порога?

— ...стоящий на краю поселка. Я знаю его до трещинки на щеколде у калитки, до каждого сучка в половице...

— ...до голоса лягушки на пруду, до мозоля на лапке сверчка за печкой?

Я едва сдерживалась. Издеваясь над ним, я издевалась над собой. Боги! Великие матери-богини! Гея, Кибела, Астарта, Иштар! Пресвятая дева-богородица! Дайте мне силы!

Я готова была разорвать его на части, сложить и опять разорвать. Он меня не слышит! Для него есть только он сам!

Ему и в голову не приходит, что когда его, избитого скифами, дружки бросили на обочине, я была той рабыней, что перевязала ему раны.

Когда он, с ног до головы закованный в ржавое железо, носился с оравой таких же сумасшедших по пустыне и едва не умер от жажды, я была кочевницей, поднесшей ему чашку верблюжьего молока.

Когда он, оступившись на Гнилом Мосту, тонул, я была русалкой, вынесшей его на берег.

Когда он дрожал от холод в идиотском уборе из орлиных перьев, я была той скво, что пришла развести огонь в его вигваме.

Он меня искал, но не видел, что я всегда была рядом.

Господи! Каким же они все кретины!



Они хотят видеть нас слабыми, чтобы самим казаться сильными.

Они придумывают нас, чтобы искать.

Они...

Я согласна.

Я буду спотыкаться, чтобы он мог галантно поддержать меня под локоток.

Я буду позволять похищать себя, чтобы он мог спасти.

Я подожгу дом, чтобы он смог вынести меня из огня.

Пусть так. Пройдет время, и он поймет, что мир рожают двос: он и я.

Ну разуй же глаза!

До него начало наконец доходить.

— Вероника, — тихо сказал он, узнавая. — Вероника.

— Да. Наконец-то, — сказала я. — Поздравляю. Все остальное — срунда. Главное — ты пришел.

— Я утром должен уйти, — сказал он. — У меня повестка.

### Строфа 5

Она заплакала. По-настоящему, в голос; лицо сморщилось и стало некрасивым. Размазывая слезы по щекам, она закричала, что никому я ничего не должен, кроме нее.

Но теперь-то я точно знал, что должен. Я отвечаю за то, что, вокруг меня, я отвечаю за нее, я отвечаю за тот мир, который породил, я отвечаю за все. И если есть хоть какая-то возможность что-то исправить, я должен ее использовать.

А она кричала, что это не моя война, не нужна мне эта война, она боится за меня и никуда не отпустит, и если бы здесь был профессор Трахбауэр, он бы все объяснил.

Я попытался ее успокоить и объяснить, что никакого профессора Трахбауэра не существует, она знает это не хуже меня, но в углу, где из трубы на месте отвалившегося крана капала вода, сгустилось облачко не то дыма, не то пара и появился сам профессор Трахбауэр и сказал тихим грустным голосом, забыв включить акцент:

— Есть для начала две силы, правящие миром — добро и зло, черное и белое, Свет и Тьма, и люди — лишь зыбкая тень на грани их раздела. Все наши войны — суть часть одной большой Войны начал. Для Вселенной не важно, кто победит в той или

иной войне, важно, что станет сильнее — добро или зло, чего будет больше — Света или Тьмы.

Люди изобретают орудия убийства, пытаются понять тайны мироздания, открыть его законы и использовать их для уничтожения себе подобных, а может быть, и всего мира. Люди стали настолько сильны, что могут сказать, даже не понимая этого, свое слово в Войне начал. И мир вынужден защищаться, он меняет свои законы. Ставшие на сторону Тьмы изобрели пушки, ракеты и бомбы, а Свет ответил тем, что создал места, где пушки не стреляют, бомбы не взрываются, а ракеты не взлетают. И кажущееся зло на самом деле идет на благо миру. Люди еще не понимают, в какую игру они вступили, не знают ее правил.

Злобы выгодна Тьме, она ее питает, и Тьма делает все, чтобы злобы — ее пищи — было в мире больше. Мы создали, сгенерировали критическую массу зла, и теперь оно обращается против нас, чтобы вызвать еще большее зло. Теперь каждый из нас — поле битвы двух начал, и в стороне могут оставаться лишь те, кому наплевать на этот мир и на то, что с ним будет. Есть и такие, ты их знаешь, они живут долго и счастливо, и умирают, когда им все окончательно надоедает.

— Я не из них, мне не наплевать! — сказал я, и Трахбауэр горько усмехнулся.

— Как знать, не ты первый и не ты последний. Кто знает, какое из начал победит в тебе. Ты хочешь идти на войну, драться со злом? Но не станешь ли ты в этой войне сам носителем зла?

— Не стану.

— Благими порывами... Впрочем, смотри...

## Ортострофа 2

Сверху было отлично видно, как вышедшие из Вечного моря полчища захватывали дзонги один за другим. Пленных в этой войне не было.

Город выдавливал из себя колонны добровольцев. Мерный топот обреченных сотрясал измученную землю.

Лишайями расплзались зеленые пятна заморов. Изроды и люди избегали бывать там, потому что не стреляло в заморах оружие и нельзя было там убивать.

Дзонг на холмистом плато был окружен людьми, но люди еще не знали этого, строили планы, проводили учения, ждали писем. В штабе закончилось совещание. Офицеры потянулись к

выходу, соблюдая субординацию и пряча друг от друга глаза.

Когда за последним закрылась дверь, я тяжело опустился на стул, стиснул распухшую от сомнений голову.

Свежие разведанные, если можно назвать разведанными те крупницы информации, которые удалось добыть, не внесли ясности, не рассеяли сомнений, но исподволь подводили к страшному выводу: настала очередь Оплота Нагорного. Моя очередь.

Отлично спланированное и безукоризненно исполняемое тотальное уничтожение, которым руководит ум и воля, превосходящие человеческий ум и волю.

И я, легат Порота Тарнад, за плечами которого сотни выигранных сражений, бессилен что-либо изменить.

Я устал.

От ежедневных землетрясений, во время которых чувствую оскорбительную слабость в коленях, дрожь в руках не покидаю своего кабинета, чтобы этого не видели подчиненные.

От неправильной войны, когда самая совершенная техника без видимых причин превращается в бесполезные груды искореженного железа.

От дурацких стрелометов, арбалетов, катапульт и мечей, от всей этой музейной рухляди, поступающей на вооружение вместо отказывающих огнеметов, ракет и танков.

Но не это страшит. Я знаю свой долг и исполню его, даже если исчезнет, откажет, предаст всё оружие и придется идти на врага с голыми руками. Бывало и такое.

Страшит неизвестность.

И еще — эпидемия, неизлечимая болезнь, выкосившая лучших офицеров и десятки самых отчаянных ветеранов. Мгновенное помешательство, рассудок отключается, и человек в слепой ярости бросается на окружающих, не разбирая, кто перед ним. Лекарство одно — смерть.

Я устал от беспричинных изнуряющих приступов панического страха, перемежающихся вспышками злобы, понимания своего бессилия и обреченности. Но ум мой, мой веками тренированный ум восноначальника, все еще продолжает искать выход из лабиринта обстоятельств.

Иначе нельзя. В любое время в любом мире моей задачей было наведение порядка железной рукой. Так было всегда. Так должно быть и теперь.

Должно быть.

К войне готовились всегда. Знали, что рано или поздно она начнется. Не с заморцами, так еще с кем-нибудь. Война не может не начаться, если к ней готовишься.

И вот она началась, и выяснилось — не готовы. Враг оказался сильнее и страшнее, чем ожидалось. Но для меня это ничего не меняет. Враг внутренний или враг внешний, сильный или слабый — все равно от моего долга меня никто не освободит.

Не вовремя! Как не вовремя все!

Я придирчиво оглядел свои ногти, успевшие отрасти с утра, тщательно их обрезал. Нет, ко мне эта зараза не пристанет. Я вскочил со стула и заметался по кабинету, затягивая портупею. Разведка и связь, глаза и уши любой военной машины. Обруби их, и...

— Катастрофа, — вырвалось у меня помимо моего желания. — Катастрофа...

В дверь постучали. Получив разрешение, вошел дежурный офицер.

— Слушаю, — не оборачиваясь сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Спешу доложить, мой легат, через пять минут землетрясение.

— Что еще?

Дежурный замялся.

— Девочки из Когорты Поднятия Босвого Духа жалуются на жестокость... Особенно усердствуют ветераны. Участились случаи изощренного садизма, например...

Я оборвал слюнятя:

— Они знали куда их направляют. Потерпят. У вас все?

— Все.

— Свободны, — сказал я и, помолчав, добавил: — На время землетрясения разрешаю покинуть здание, если вам... страшно. Заодно утешите девочек. Идите.

Офицер, прибывший в дзонг с последним пополнением, втянул со свистом воздух, щелкнул каблуками и вышел. Теперь он не покинет штаб, если наверняка будет знать, что на него обрушится потолок. А вечером у какой-нибудь девочки из Когорты добавится поводов для жалоб.

Пять минут истекли. первый толчок был несильным, но меня словно ударили палкой под колени. Я пошатнулся,

обернувшись, ухватился руками за подоконник, прижался лбом к подрагивающему, заклеенному крест-накрест зелеными полосками бумаги стеклу. Всего минуту назад безоблачное, небо покрылось тучами. Там, наверху, над дзонгом, ветры дули во всех направлениях одновременно. Тучи стремительно неслись навстречу друг другу, темнели и тяжели. Мне показалось, что слышу я тяжкий грохот сталкивающихся туч; еще тионы и этих суетливых букашек на плацу, в неизмеримом своем самомнении думающих, что от них что-нибудь зависит, что они что-нибудь могут изменить в этом мире, который и не подозревает об их существовании.

Миром правят силы, о могуществе которых человеку не дано узнать до конца, потому что ломается при столкновении с ними хрупкий разум, отказывает слабое тело.

Спрятаться! Забиться в дальний угол. Не видеть и не слышать, зажмуриться и зажать уши ладонями. Умереть...

Я сполз по стене на пол, не отдавая отчета в своих действиях, на четвереньках добрался до угла, бормоча и не слыша своего голоса. Увидел, как створки окна начали раскрываться, и закричал от ужаса. Стекло беззвучно расколосось, медленно упало на пол туда, где я только что был; плавно и неторопливо разлетелись осколки. Стул покачнулся и двинулся в мою сторону, задержался, словно раздумывая, и заскользил обратно.

— Не так, не так, не так, все не так, все неправильно, неправильная война, неправильная жизнь. В чем же мы провинились, господа?!

Я спешил, проглатывая слова, повторялся, мне изо всех сил нужно было спешить оправдаться. Я только не знал, в чем и перед кем я должен оправдываться.

А кто-то невообразимо огромный и могучий смотрел пристально, давил, мял, лез безжалостными руками под черепную коробку, копошился в мыслях, занимаясь только одному ему ведомой сортировкой и отбором, отбрасывал лишнее.

Я застонал от боли и жалости к себе, завыл в голос, сжал готовую разлететься на миллион кусков голову и вдруг словно бы увидел себя со стороны глазами того огромного и могучего: скорчившийся, до смерти испуганный человечек с полнейшим сумбуром в подлежащих сортировке мыслях и чувствах. С холодным интересом он следил, как это жалкое существо трясущимися руками расстегивает кобуру...

...мальчику подарили на день рождения хомячков, три крохотных пушистых комочка смешно перекатывались по клетке и непрерывно жевали все, что он им давал. Он придумал им имена, менял воду, подсыпал корм, на ночь ставил клетку рядом с постелью, чтобы утром, едва проснувшись, проверить — как она? А днем выпускал на лужайку перед домом и отгонял жадно следящего за ними кота. Но однажды он на минуту отлучился, а когда вернулся, кот уже расправился с двумя зверьками — клочки шерсти на заляпанной кровью траве — и подбирался к третьему. Мальчик вскрикнул было, но зажал себе рот и отступил за дерево. Жалость боролась в нем с любопытством, и лишь когда кот догнал хомячка и с добычей в зубах понесся прочь, мальчик с криком выскочил из-за дерева, размахивая хвостом.

Ненужное — УБРАТЬ.

...Казнь кота за оплетенной виноградом беседкой в углу сада. Приговор записан под диктовку отцовским писцом на листе пергамента и скреплен отцовской печатью. Волосная веревка перекинута через сук, тщательно смазана жиром петля. До крови исцарапанный, мальчик добил на редкость живучего кота падкой. Преступление должно быть наказано. Таков порядок.

ОСТАВИТЬ.

Вынимает пистолет, передвигает затвор...

...Кармит Джанма, соперник и лучший друг. В учебных походах всегда вместе, койки в казарме рядом и даже выпускной балл — самый высокий на курсе.

Курсантская традиция — перед распределением скреплять дружбу кровью. Мало у кого нет шрама на запястье и мало кто из офицеров не пил смешанного с кровью вина. Юные лица с первым пушком на щеках, нарочито громкий смех, ломающиеся, но уже командирские, баски, клятвы навек.

УБРАТЬ.

Но — через несколько дней распределение, а место престижного манипула только одно.

Но — у полемарха только одна дочь.

Но — побеждает только тот, кто умеет отказываться от лишнего ради необходимого.

Он, Порота Тарнад, умеет.

Крамольная книга куплена на двухмесячное курсантское жалованье — пришлось занять у Кармит Джанма — и в ночь перед проверкой положена другу в шкаф под смену белья, а

рапорт на имя начальника учебной когорты написан левой рукой.

**ОСТАВИТЬ.**

...подносит пистолет к виску...

...Бунт в промышленном районе на границе Горящих Песков. Шумный, суетливый, бестолковый, как и все стихийные бунты. Опустели рудники, замерли на станциях составы с продовольствием для Парадизбурга.

Рейдовые ползуны с погашенными фарами вошли в город и по трем улицам двинулись к центральной площади, где перед зданием местного совета Архонтов собрались бунтовщики. Когда в машины, рассчитанные на прямое попадание из орудий среднего калибра, полетели камни, палки, бутылки, новоиспеченный новый легат, брезгливо отряхивая с мундира остатки гнилого помидора, отдал приказ. Взревели моторы, и ползуны с трех сторон ринулись на площадь. Бунт был подавлен, площадь мостили заново, рейдовые ползуны отмыли из брандспойтов, младшего легата наградили и под вопли быдла, громко именуемые «общественным мнением», сослали до поры до времени в отставку.

**ОСТАВИТЬ.**

Огромное поле синих цветов, густой аромат, сияющие глаза, счастливый смех, летящие по ветру распущенные волосы.

**УБРАТЬ.**

Расстрел пораженцев.

**ОСТАВИТЬ.**

**УБРАТЬ. ОСТАВИТЬ. УБРАТЬ.**

...указательный палец нажимает курок...

Яростная боль взорвалась у меня в голове, мир потемнел, перевернулся, бешено завертелся в водовороте, центром которого был я, легат Тарнад, полный кавалер орденов Доблести Предыдущих. Мелькнули два одинаковых мальчика, один из которых рвался спасти зверьков, а другой, точно такой же, но другой, с холодными глазами, его не пускал. Задергался в конвульсиях кот, поблек, растворился и исчез за границей водоворота жалостливый мальчик, а холодноглазый превратился в высокого сильного юношу, и в правой руке у него был курсантский штык, а по запястью левой в бокал с вином стекала кровь, а потом шрам на запястье пропал, штык превратился в ручку, и ручка вывела на листе почтовой бумаги: «Источник считает своим долгом донести до Вашего сведения, что...»

И вдруг все кончилось.

Я открыл глаза. Голова была необычайно ясной, а тело легким и послушным. Я рывком вскочил на ноги, сунул в кобуру не стреляющее во время землетрясений оружие, потянулся до хруста в костях, пружинисто подошел к разбитому окну и жадно вдохнул воздуха, пропитанного страхом, яростью и отчаянием.

Чужим страхом, яростью и отчаянием.

Я вытянул перед собой длинные руки, растопырил пальцы, до острых черных когтей заросшие густой рыжей шерстью, клацнул от удовольствия зубами и нажал кнопку вызова на столе. Ждать пришлось довольно долго, я повизгивал от нетерпения. Наконец дверь отворилась. Бледный дежурный офицер успел лишь заметить метнувшуюся ему навстречу гибкую рыжую тень, и в следующее мгновение мои острые клыки сомкнулись у него на горле.

### Строфа 5

— Ты понял? — Вероника тормозила меня за рукав, заглядывала в глаза. — Ты понял? Не для того я столько ждала, чтобы отпустить тебя туда. Ведь это же не твое! Ты сам тысячу раз думал, что все это не твое. Твое — это Дом и я. Ну не молчи же! Я боюсь за тебя...

Я попытался ее успокоить, хотя на душе скребли кошки.

— Ну и что? — сказала я. — Со мной ничего такого не случится, я уверен, я знаю!

— Да откуда ты можешь это знать?!

Что мы знаем о себе? — спросил профессор Трахбауэр. — Только то, что некоторые из нас существуют. Ты вот, например, существуешь, а я — нет. Я лишь часть тебя.

— А легат Тарнад, а она...

Но профессор Трахбауэр не ответил, уже привычно растворившись в легкой дымке, которая скоро рассеялась под дуновением ветерка из форточки.

Вероника говорила что-то о гиперборейцах, счастливицах, живущих долго и счастливо лишь потому, что они живут только для себя и отвечают только за себя и не вваливают на свои плечи ответственность за других, и о Заветном Городе и магах — откуда она все это знает? И до чего же это все далеко!

А близко — вот оно, за окном: холодный блеклый рассвет над моим застывшим в ожидании городом. Заполнившая его до



красв мерзость, подлость, глупость и грязь. И рожденная этой мерзостью еще большая мерзость ползет на город из вод Вечного Моря.

Можно отвернуться, хлопнуть дверью, забыть и не видеть, но как войдешь в свой дом, не избавившись от стыда?

Вероника поняла.

— Спаситель,— с горьким смешком сказала она.— На крест сам залезешь или посадить? Это не та война, где толпа на толпу, это война каждого с самим собой, и ты будешь там совсем один! Господи! Дура я дура, ну за что мне такой?!

Она вдруг замерла, прижав ладони ко рту. В прихожей звонили. Требовательно и нетерпеливо.

— Открой,— сказал я.— Это уже за мной. Пора. В повестке ясно сказано: «Неявка или опоздание...» Открой.

С покорной обреченностью она пошла открывать. У самой двери обернулась и с мольбой целую вечность смотрела на меня.

— Еще не поздно,— говорили ее глаза.— Я тебя спрячу, я все улажу. До темноты ты просидишь в шкафу, они не найдут, я завешу тебя старыми платьями, ты только не чихни от нафталина. А всером мы выйдем из города и пойдем искать Дом вместе. Я знаю, там есть подвал, в нем ты будешь сидеть днем, а ночью я буду тебя выпускать, и мы вместе будем сидеть на крыльце, говорить о запахе ночных фиалок или просто молчать...

Но Вероника не была бы Вероникой, если бы не додумала до конца.

...и вздрагивать от каждого шороха. У тебя будут грустные собачьи глаза и согнутая спина труса, и говорить ты будешь прерывающимся шепотом.

Она нахмурилась, закусил губу и рывком открыла дверь.

На пороге, прислонившись к косяку, стоял здоровенный детина с дурацкой улыбкой на широком лице. К груди он прижимал веселого пушистого щенка.

— Вот,— сообщил он.— В городе всех собак перебили, еле спас. Вероника, я набил шеф-академику морду и вместе с сестрой записался добровольцем. Можно зверюгу у вас оставить?

## ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

### Ортострофа 1

Доклад о результатах разведки пришлось делать по селектору, потому что легат никого не впускал к себе в кабинет, очевидно, из боязни заразиться, что вызывало в дзонге множество самых разнообразных сплетен. Потом я отправился в гарнизонную канцелярию узнать про почту.

В канцелярии пахло мышами. Писарь кивнул, достал пачку писем и бросил мне через стол, не переставая возбужденно кричать в трубку и, разинув рот, выслушивать ответы.

— И когда? Двоих сразу?.. А он что?.. Да, на всякий случай запас... Пусть только посмеет кто сунуться...

Я быстро просмотрел почту. От Вероники ничего не было, зато было несколько обильно проштемпелеванных казенного вида конвертов, и в одном было извещение из Управления Комфорта и Быта о том, что меня за неявку на перерегистрацию перевели в самый конец очереди на квартиру, из другого я узнал, что общество любителей полных солнечных затмений, членом которого я никогда не был, по-прежнему собирается каждую вторую пятницу каждого третьего месяца во Дворце Высокой Культуры, а что было в остальных, выяснять не стал, скатал их в ком и переправил в мусорную корзину.

Все эти письма были из какого-то очень далекого другого мира, живущего по своим законам. Тот, другой мир, уже забыл, что отправил меня драться за то, чтобы остаться таким, какой он есть.

Впрочем, нет, не так. Я сам пошел. Затем, чтобы его изменить. И дрался, глотал пыль заморов, вечерами пил в кантине за тех, кто не вернулся из рейда, и за тех, кому посчастливилось вернуться, и не заметил, как забыл, какой он, тот мир, который я должен спасти. И заслуживает ли он того, чтобы его спасали или изменяли?

Сейчас мой мир здесь, и он прост и понятен: дожить до вечера и дожить до утра. А то, что было там — это сон, морок, очередная уловка замора. И Вероника — тоже сон, я ее придумал, потому что нет никакой Вероники, а есть славные девочки из Когорты Поднятия Боевого Духа, и задачи у них тоже простые и понятные. Солдат — существо вообще очень простое и понятное, и для его нормального функционирования нужно совсем немного: регулярное питание три раза в день и раз в неделю — высвобождение семенных желез.

А Вероника...

Ну себе-то я зачем вру?!

Затем, что так проще. Не нужно задумываться, вспоминать и мучить себя. Затем, чтобы, идя в бой, просто убивать, и ни о чем не думать, потому что если будешь думать о выполнении долга перед кем-то и во имя чего-то, убьют тебя.

Так чем же ты отличаешься от изрода, приятель?

А в самом деле — чем?

Мысль показалась мне забавной. Я хмыкнул. Надо будет вечером спросить у Малыша Роланда. Послушаем, что ответит на это бывший труженик пера и диктофона.

Писарь кончил орать в телефон и озадаченно глянул на меня.

— Дела-а, — протянул он. — Только что старшина с гауптвахты спятил. Помнишь, толстый такой? Ворвался в караулку, двоих задушил, еще одному горло зубами порвал. Пол-обоймы всадили, а он все еще живой был, рычал, когти здоровенные, черные... Говорят, к штабу прорывался, тут ведь рукой подать...

Тщедушный писарь зябко повел плечами, с опаской покосившись на дверь.

— Пятый случай за два дня... Пропасть какая-то. Во время землетрясений и раньше бывало, но там все понятно: нервы не выдерживают. А теперь все больше среди бела дня... Тут пораженцев троих поймали прямо на плацу. Собрали вокруг себя салаг и давай заливать: бросайте, дескать, оружие, от оружия вся эта напасть, не нужно воевать, возлюби ближнего своего, обычная, в общем, песня. Так может они эту заразу занесли?.. Легату хорошо, он в кабинете заперся и не пускает никого, а нам каково? С тех пор, как соседний дзонг взяли... Ты давно вернулся? — подозрительно спросил вдруг писарь и вместе со стулом отодвинулся подальше в угол.

— Сегодня утром, — думая о своем, ответил я. — Постой! Что, говоришь, взяли? Дзонг Долинный?

Вот, значит, как, — подумал я. — Долинный взяли. Это совсем рядом, за хребтом. А ведь там у Малыша Роланда сестра знахаркой. Я встал со стула, и писарь, точно подброшенный пружиной, тотчас оказался в углу и заверещал:

— Не подходи! Не подходи, кому говорят!

— Да уймись ты! Так это правда, что Долинный взяли?

— Ну взяли и взяли, я-то при чем? — запричитал писарь. —

Что ты ко мне привязался? Чуть что — сразу я виноват. Получил свои письма и иди отсюда, отдыхай. Ты же из рейда, тебе отдых положен. В кантину иди или еще куда.

Глаза писаря странно блестели, он облизывал пересохшие губы и был похож на испуганного зверька, готового вцепиться со страху если не в глотку, то хоть в щиколотку. Мне стало не по себе, и я спиной отступил к двери.

— Ухожу, ухожу, успокойся. Кто-нибудь спасся... в Долинном? — спросил я напоследок, заранее зная ответ. Писарь замотал головой так, что я испугался, как бы она не оторвалась.

Я осторожно прикрыл за собой дверь и услышал, как с другой стороны стукнула щеколда. Еще один кандидат в сумасшедшие.

Уже по пути в кантину, машинально отдавая честь встречным офицерам, я очень остро ощутил, что за то время, пока мы с Малышом Роландом были в рейде, в дзонге произошли перемены. В глазах офицеров, в согнутых спинах штрафников, убирающих осыпавшиеся во время землетрясения куски штукатурки, в наждачно-сухом воздухе — во всем чувствовалось тревожное ожидание, неуверенность и страх.

Как тогда, в канцелярии под испуганно-злым взглядом писаря, мне стало не по себе и опять я почувствовал онемение между лопатками, будто смотрит мне в спину готовый к прыжку изрод.

### Парастрофа 1

А в Заветный Город пришла весна. Весла слепого лодочника выбросили побег с молодыми листочками. Он срезал их и дарил русалкам, чтобы они могли сплести себе венки и водить хороводы на лунной дорожке.

Кипели бескровные сражения у зеленеющей молодым плющом монастырской стены, и Варланд, совсем не строго покрикивая на резвящихся на лужайке коняков, готовился к приезду гостей со всех уголков Дремадора.

Ночная птица пролетела над дорогой, и зашелестели листья у Дома над теплой землей.

### Ортострофа 2

У входа кто-то кого-то хватал за ремеш и что-то втолковывал, стучая спиной о стену. За грудой ящиков шушукались и пьяно хихикали, а прямо перед дверью стоял, широко расставив ноги

и мучительно икая, всклокоченный сержант в расстегнутой камуфле, залитой спереди темным и жирным.

— Тогда я послал ее в и-и-ик! а сам пошел и записался в доб-и-и-к! -ровольцы,— сказал сержант. Он попытался обхватить меня руками, но промахнулся и едва не упал, привалившись к косяку.

— Молодец, молодец, правильно сделал,— я потеснил сержанта плечом, толкнул дверь и, войдя внутрь, поперхнулся от сложной смеси запахов прогорклого масла, начищенных башмаков и пролитого скверного пива.

Щурясь от табачного дыма, я протиснулся к стойке, спихнул с табурета раскисшего салагу, который попытался было возмутиться, но мне было не до выяснения отношений. Я мазнул его пятерней по физиономии, а когда он зажмурился, резко толкнул. Салага вскрикнул, взмахнул руками и грохнулся на пол.

Разговоры вокруг смолкли, как всегда бывало перед дракой. Ближние потеснились, дальние шепотом спрашивали, кто первый начал, и протискивались вперед.

— В чем дело, ребята? — крикнул Витус, сгребая со стойки кружки.— Если драться, давайте на середину.

Драться мне не хотелось.

— Все нормально,— сказал я.— Молодой грубить вздумал.

Со всех сторон разочарованно загудели. Кантина вновь наполнилась ровным гулом голосов, звяканьем посуды да руганью игроков в кости, устроившихся в дальнем углу. Салага тем временем барахтался на полу, держа курс на выход. Но пока я раздумывал, не надрать ли ему для скорости, Витус выставил передо мной на стойку две кружки, я залпом осушил первую, медленно втягивая выпил вторую и затребовал еще. После третьей сумятица в мыслях немного улеглась, и я попытался трезво поразмышлять, что такое могло случиться с Вероникой и почему нет от нее писем, но трезво думать не получалось, лезли в голову всякие мерзости, и хотелось тут же вскакивать и куда-то бежать, хватать за грудки, кричать и требовать. А после четвертой я решил поискать Малыша Роланда, у которого сестра была знахаркой в Долинном, и рассказать, если он еще не знает, и напоить до бесчувствия, и просто посидеть рядом.

Я огляделся по сторонам, но Малыша Роланда не заметил, зато обнаружил рядом с собой очень чистенького, промытого и

благоухающего хорошим одсколоном салажонка в новенькой камуфле, который горячо пересказывал храпящему сержанту официальную сводку о боях на севере и о том, что отдельные части настолько продвинулись к морю, что теперь его уже видно в бинокли. Вот где нормально дают ребята!

Дурашка ты дурашка, — подумал я с неожиданной нежностью и чуть ли не умилением. Нормально дают, нормально. И продвинулись хорошо. Еще полгода назад в хронике показывали, как наши brave ребята на отдыхе ловят рыбу в этом самом море, к которому они теперь настолько продвинулись, что его видно в бинокли.

Я вспомнил, как с легионом точно таких же чистеньких, с горящими глазами ребят прибыл в дзонг. В дороге все они очень переживали, что вот-вот по приказу самого басилевса будет применено сверхоружие, и к их прибытию все уже закончится. А потом я очень долго, месяца два, пребывал в уверенности, что очень скоро, увешанный наградами, вернусь к Веронике, которая ждет и гордится и любит, и мы вместе пройдем по улицам, и встречные будут бросать цветы герою-добровольцу.

Но сверхоружие так и не было применено, а потом перестали взрываться бомбы и в одночасье заглохли моторы всех реактивных самолетов, умолкли орудия крупного калибра, и наконец появились и стали разрастаться заморы — места, где не стреляет, не взрывается и не летает ничего, сделанное человеческими руками и способное убивать.

Но тогда, с песней грохоча новенькими башмаками по мостовой и улыбаясь девушкам, мы не знали, что будет так. Не знали, что половина из нас погибнет в первых же рейдах, не успев сообразить от чего именно. Половина оставшейся половины сгниет в заморах под обломками винтокрылов, и лишь каждый шестой, случайно выжив, станет солдатом, но что-то в нем все-таки умрет.

В нас осталась только злость и крохотный островок памяти о том, какими хорошими мы хотели бы быть. Но и этот островок мы заливаем кислым пойлом у Витуса в кантине, чтобы осталась только злость. Так проще.

Я почувствовал вдруг острую зависть к чистенькому салажонку с горящими глазами — откуда он взялся и зачем он здесь? — и хотел что-то у него спросить, что-то очень важное, что я знал, но забыл, а теперь не могу вспомнить, но тут появился из сизого тумана Малыш Роланд с бешеными глазами и сигаретой в углу

рта, схватил меня за плечи и потащил к столику в углу, где уже стояли тарелки с жареным клюваньим мясом и в кружках было что-то намного прозрачнее того пойла, которое Витус выдавал за пиво.

А еще за столиком был каптер, и один глаз у него заплыл, зато синяк под другим уже вошел в цвет и фиолетово лоснился. Рукой со взбитыми в кровь костяшками каптер подпирает голову, но она была очень тяжелой и все время соскальзывала. Каптер водворял ее на место и проникновенно бормотал:

— Ребята, с этими башмаками-то что получилось...

Договорить ему никак не удавалось, потому что Малыш Роланд подливал и подливал, заботливо приговаривая:

— Ты закусывай давай, закусывай. Ну их, башмаки эти. Сильно болит?

Приглядевшись внимательней, я вспомнил вдруг, что каптер тоже был там, в той давней когорте восторженных салажат-добровольцев. Был он там запевалой и шагал рядом с Витусом, а вот ни в одном рейде он не был, это точно. И Витус тоже ни в одном рейде не был. А вот Малыш Роланд ни одного не пропустил. И я не одного не пропустил, хотел бы, да не сумел, не получается у меня шустрить и изворачиваться.

Глядя на аппетитно хрустящего клюваньими косточками Малыша Роланда, я понял, что он еще ничего не знает. И пусть не знает, пусть подольше не знает. Жива еще, быть может, его сестренка. Бывает же такое, кому-то ведь удастся иногда вырваться. Мне захотелось хлопнуть Малыша Роланда по широченному плечу, сказать что-нибудь хорошее и доброе, потому что отличный он парень, Малыш Роланд, простой и надежный. И аппетит отменный. Приятно смотреть, как настоящий мужчина по-настоящему ест, не ковыряется и не выбирает, как лицеистка, а лихо работает челюстями, словно это тоже работа, которую нужно не просто сделать, а сделать на совесть и с радостью.

— А ведь ты мне жизнь спас,— растроганно сказал я.— Если бы не ты, сожрал бы меня изрод, тварь поганая, точно сожрал. Вот завтра пойдем вместе к легату и я ему скажу, что ты мне жизнь спас, и пусть он тебе отпуск даст на парудней, ты же хотел отпуск.

— Да брось ты,— пробурчал Малыш Роланд, друг мой верный и единственный.— Дел-то всего ничего. Каждый на моем месте... Ты пей давай, у меня еще заначено.

И вот весь он в этом! Я всхлипнул сладко и не стал утирать заструившихся по щекам слез.

— А башмаки я ваши продал, ребята,— ласково улыбаясь, сказал каптер.— Деньги я люблю очень, потому и продал. А еще будут, еще продам.

— Будут, конечно будут,— сказал Малыш Роланд, разулся и выставил на стол свой башмаки.— Ты возьми, может, хоть полцены выручишь.

И я тоже разулся, и обнял каптера за плечи. Господи! До чего же мне повезло! Какие они все милые и добрые! Все, все, все!

А вокруг обнимались и счастливо плакали. Витус ходил с бочонком меж столами, хлюпал носом, просил прощения и подливал всем густого душистого пива. Порозовевшие от смущения девчушки из Когорты одергивали свои форменные мини-юбочки, безуспешно пытаясь натянуть их на колени, а со всех сторон к ним тянулись руки с носовыми платками, камуфлями и плащ-палатками. В углу в голос рыдал известный всему дзонгу картежный шулер, вынимая из-за общагов тузов и королей.

— Спасибо вам за все, хорошие вы мои,— начал было дрожащим от благодарности голосом каптер, но вдруг встрепенулся и голосом совсем другим, злым и холодным, сказал: — Сдохнете вы все, потому что скоро Последняя Битва. Сдохнете, как один. Долинный уже взяли, теперь ваша очередь.

Малыш Роланд что-то ответил, и голос у него тоже был, как гвоздем по стеклу. Слов я не разобрал, потому что слова все были неразличимо колючие. Больно резанул по ушам чей-то смех, бульканье, оглушительное звяканье вилок и громовое чавканье, будто стадо свиней идет по грязи.

Я замотал головой, озираясь по сторонам, но вокруг все было как всегда. Были вокруг сытые хамы из службы обеспечения со своими грудастыми потными девками.

Труссы, спекулянты, мразь.

Отдельной группой, не глядя по сторонам, сидели те, кому сегодня удалось вернуться из рейда. Лица их были серы, они молчали и одну за другой опорожняли большие кружки.

Слабаки, герои поганые, наверняка ведь сбежали, поджали хвосты и сбежали, за шкуры свои испугались.

За соседним столиком с некрасивой девицей из Когорты сидел пилот. Девица зевала и озиралась, а пилот лапал ее за колени и шептал запекшимися губами:



—...машина вниз камнем, у земли вывел на ротацию, посадил, он выскочил через люк, тут-то нас и накрыло. Двадцать лет ему было, двадцать! Я их зубами грызть буду, он же младший был, мать так и говорила: смотри, говорит, за младшим...

Трус, бросил брата, сбежал. Злости тебе не хватило и ненависти.

Девушка перехватила мой взгляд и призывно оскалилась.

Встать и врезать ей наотмашь по наштукатуренным щекам, чтоб голова мотнулась и кровь брызнула из размалеванных жадных губ, и раз, и другой, еще и еще...

Я залпом опорожнил кружку. Каптер что-то говорил, брызгая слюной. Малыш Роланд жрал мясо, заросшая сизой щетиной рожа лоснилась, по подбородку стекал жир, пальцы тоже были жирные и вилку он держал ими как лопату.

— Ты поаккуратней не можешь жрать?! — в бешенстве прошипел я, привстав табурета, сгреб его за отвороты камуфля и проарал, наслаждаясь звуками собственного голоса:

— Я тебе говорю, скотина! Поаккуратней не можешь жрать, а? Думаешь, я не помню, как ты к Веронике подкатывался? Отлично я все помню, да вот кишка у тебя тонка, не такая она, моя Вероника! А Долинный взяли, нет больше Долинного, потому что мразь там была одна, слабаки и трусы. И сестричка твоя... О-о! Знал я твою сестричку, мало кто у нас в Институте, да и во всем городе ее не знал, разве что старики и дети... И то потому что одни уже, а другие еще не могли ее знать!

Я захохотал, как мне хотелось, зло и хрипло, потрянул Малыша Роланда так, что поползла под пальцами ткань, швырнул на табурет. А кто-то хватал уже меня сзади, выворачивал руки, норовя лягнуть в пах. Кто-то раздирал губы грязными пальцами, но с другой стороны, переворачивая столы и ломая на ходу табуретки, мне уже неслись на подмогу. И кто-то, наверное я, рвал из кобуры нестреляющий пистолет.

Заклубилась, заклокотала драка, бессмысленная и жестокая, как человеческая жизнь, выкатилась из кантины и только тут, под холодным взглядом равнодушных звезд, распалась.

Малыш Роланд протянул мне руку, помогая подняться, и часто и хрипло дыша, спросил:

— Это правда... про Долинный?

## Парастрофа 2

И я тоже хотел туда.  
Туда, где спокойно и красиво.  
Туда, где свободен. От всего и от всех.  
Туда, где Дом.  
Остановите! Я схожу.

## Ортострофа 3

День Последней Битвы настал.

Тяжелые рейдовые ползуны вспарывали гусеницами плато от края и до края. Туча ржавой пыли поднялась от ржавой земли к серому небу, заслонила солнце, и оно тоже стало ржавым. Дрожали скалы. Броневой вал неудержимо накатывался на временные укрепления изродов, охватывал подковой, а над наспех вырытыми окопами, над вросшими в землю капонирами с черными ощеренными пастями амбразур завертели смертоносную карусель «Клюваны».

Но дрогнула и оборвалась туго натянутая струна, и сдвинулось что-то в окружающем мире. Умолк рев моторов, разом остановились могучие боевые машины, обрушилась на мир тишина, и в тишине медленно и страшно падали с неба начиненные смертью и ненавистью винтокрылы.

Люди выскакивали из предавших их машин, в ярости рвали на груди камуфлю, отшвыривали нестреляющие автоматы, выхватывали из ножен клинки и с рычанием устремлялись туда, где из траншей уже поднимались им навстречу черные шеренги.

Тишина была как удар молнии.

Тишина билась в висках толчками крови.

Тишина была страшной.

Я давил побелевшими пальцами на гашетку, но пулемет, поперхнувшись, умер. Сквозь паутинку прицела я видел, как мечутся внизу черные фигурки, как стремительно несется навстречу земля, чтобы ударить, раздавить, сплющить.

Злые слезы бессилия брызнули из глаз. Я закричал впившемся в штурвал Малышу Роланду:

— Да сделай же что-нибудь!

Малыш Роланд зарычал в ответ. Мышцы его вздулись буграми, из горла вырвался хрип. Нечеловеческим усилием ему удалось выровнять рыскающую машину, вывести на ротацию. Теперь у меня перед глазами раскачивался изрезанный клыками скал горизонт. Падение замедлилось.

Малыш Роланд предостерегающе рывкнул, и в тот же миг машину тряхнуло, пол рванулся вверх. Меня вышвырнуло из кресла. Падая, я больно ударился обо что-то острое и твердое, на несколько секунд потерял сознание, а когда очнулся, краем глаза успел заметить, как Малыш Роланд выпрыгивает наружу в клинком в руке.

Я приподнялся и застонал от пронзительной боли. Немного погодя сделал еще попытку и сел, привалившись к борту. Левая рука, дугой выгнувшаяся в предплечье, меня не слушалась. Каждое прикосновение к ней отзывалось во всем теле обжигающей волной боли. Я нашарил на поясе флягу и аптечку, сначала снял флягу, зажал между коленями, отвинтил крышку и сделал несколько больших глотков. Боль чуть ослабла, но ненадолго.

Я распаковал аптечку, нашарил ампулы, скусил колпачки и полил руку поверх камуфли быстро испаряющимся анестетиком. Потом откинул голову, закрыл глаза и стал ждать, когда можно будет наложить шину.

Снаружи кипела битва, раздавался звериный вой, крики, проклятия лязг оружия. Все это было совсем рядом и очень далеко. Здесь же, в накренившейся машине, среди ящиков с мертвыми гранатами, пулеметных лент и бесполезного металлического лома, который совсем недавно был оружием, остался человек и его боль. И еще жалость человека к самому себе, такому слабому и все о боящемся. Ко всем людям, слабым и боящимся, которые придумывают оружие, чтобы стать сильнее, но сильнее не становятся, лишь больше боятся. И тогда они окружают себя оружием со всех сторон, громоздят частокоры ракет, замуровываются в бронированных коробках и трясутся от страха, подбадривая себя оглушительными маршами и заявлениями о несокрушимой мощи. Но наступает день, рассыпается прахом слабая скорлупка брони, и человек остается один на один со своими страхами, ненавистью и жалостью.

И что же со всем этим делать?

Мне показалось на миг, что я что-то понял, что-то очень простое и важное, известное всем, но почему-то забытое. Я стал вспоминать то простое и важное, что все забыли, но вспоминалась Вероника.

Волосы ее, удивительно пушистые, рассыпались по плечам, она хохотала, запрокинув голову к небу, ловила ртом огромные,

медленно падающие снежинки, а потом мы бежали наперегонки среди белых, окутанных инеем деревьев. Лес вдруг расступился и выпустил нас на поляну, в центре которой возносилось золоченым шпилем в небо дивной красоты здание. А когда пронзительно и чисто зазвучали в морозном воздухе колокола, мы замерли, пораженные, и долго стояли так, боясь шелохнуться и спугнуть хрупкое чудо.

Снаружи в борт винтокрыла что-то ударило, заскрежетало, машина покачнулась, и вдруг в просме десантного люка появился изрод. Он хрипло дышал, из ощеренной пасти капала тягучая слюна. Взгляд желтых внимательных глаз обжег внутренность машины, не задержавшись на мне. Я не успел ни удивиться, ни испугаться, а изрод уже исчез, оставив после себя густой кислый запах мокрой шерсти.

Я перевел дыхание, огляделся и, не найдя ничего подходящего, с лихорадочной быстротой соорудил из штыка и ножен подобие шины, закрепил пластырем на руке и, шипя от боли, туго прибинтовал. Из последнего куска бинта сделал петлю, продел в нее руку и повесил на шею. Потом я долго отдыхал, прислушиваясь к затихающему снаружи шуму, и отхлебывал из фляги. Когда она опустела, я вынул из ножен клинок, осторожно выглянул наружу и отпрянул, увидев движущийся прямо на меня черный бронетранспортер.

Медлить было нельзя, я метнулся к десантному люку, спрыгнул на землю, а в следующий миг бронированная машина врезалась в винтокрыл, лапы-упоры сломались, как спички, а бронетранспортер, круто развернувшись, устремился за мной.

Неподалску был колпак капонира, у входа мелькнула знакомая фигура Малыша Роланда с перекосенным от ярости лицом. Туда я и побежал изо всех сил, но бронетранспортер нависал надо мной, грохотал, лязгал. Я успел. У входа споткнулся о лежащее поперек невысокого порога тело изрода и полетел в темноту, сжался в ожидании удара, но упал на что-то мягкое, быстро вскочил и вскрикнул от боли, задев за стену левой рукой.

Позади рычал и скреб бетон бронетранспортер, а впереди была темнота и угадывался коридор. Где-то там, в темноте, откуда доносились крики и звон оружия, был Малыш Роланд.

Я выставил вперед клинок и двинулся вглубь коридора, прижимаясь к шершавым стенам. Дышать было тяжело, воздух пропитался вонью псины. То и дело я спотыкался о трупы.

Коридор впереди расширился, из-за поворота сочился тусклый свет. Шум схватки стал слышнее, уже можно было разобрать шарканье подошв по бетонному полу и свирепое рычание.

Кто-то вдруг выкрикнул мое имя, я рванулся вперед, выскочил из-за поворота, успел заметить, как Малыш Роланд рубанул зажатого в угол изрода, и тот ничком рухнул на пол.

— Малыш!

Малыш Роланд круто обернулся, и на меня глянули бешеные жадные глаза, из оскаленной пасти вырвалось рычание, и в следующий миг, растопырив не по-людски длинные, заросшие шерстью руки с длинными когтями, Малыш Роланд прыгнул.

Я успел выставить перед собой клинок, от толчка опрокинувшись на спину и закричал от боли и страха, придавленный тяжелым, дергающимся в конвульсиях телом.

### Парастрофа 3

До чего же чистым был по вечерам запах ночных фиалок, растущих у порога Дома!

### Ортострофа 4

Быстро темнело. Сквозь амбразуры еще сочился жидкий серый свет, но он уже не мог победить густеющую по углам темноту. Она скапливалась там, пробуя силы выползала на середину и, наконец, жирная и липкая, заполнила всю внутренность капонира, оставив освещенным лишь крохотный пятачок, где я сидел, прислонившись спиной к стене, и подложив руку под голову... Малыша Роланда? Нет, это страшное существо, заросшее шерстью, с оскаленными клыками, уже не было, не могло быть Малышом Роландом, весельчаком и забиякой, добровольцем, одним из тысяч добровольцев, пошедших на эту войну, чтобы спасти свою землю от нашествия... кого? Тех, кем стали сами?

С кем же тогда мы воюем?

— Как же так, дружище? — бормотал я. — Что же это получается? Неужели мы все такие? Неужели, стоит лишь копнуть поглубже, зацепить больнее и от нас остается злобный зверь?

Я посмотрел на свои руки, они были гладкими, они были руками, но не лапами. Ногти отросли, но их можно обрезать. Я ощупал лицо. Оно заросло щетиной, но ее можно сбрить. Я был человеком.

Был человеком или п о к а был человеком?

Я этого не знал, но чувствовал, что нужно совсем немного, чтобы я перестал человеком б ы т ь.

По тому же коридору, раздвигая цепкую темноту, я выбрался наружу, обошел застывшую громаду бронетранспортера, рванул дверцу кабины и горько усмехнулся, когда из-за рычагов на сиденье повалился уже окоченевший изрод в камуфле с легатскими нашивками. Из кармана выскользнул и упал к моим ногам тяжелый черный портсигар.

Рука не давала о себе знать, онемела. Я шел быстрым шагом, лишь ненадолго задержавшись, чтобы снять и отшвырнуть в сторону португесю с заплечными ножнами и выгresti из карманов патроны.

А на месте недавнего сражения сгустилась темнота, накрыла колышущейся пеленой застывшие боевые машины, трупы изродов и людей, ставших изродами, а потом медленно поплыла за мной. Туда, где боялись и ненавидели, набивали патронами пулеметные ленты, подвешивали ракеты к кронштейнам винтокрылов и точили клинки.

К городу. Бывшему Парадизбургу, ныне Новому Армагеддону.

### Строфа 1

Спотыкаясь и пошатываясь, он шел к городу, потому что идти ему больше было некуда. Но вернувшийся, он городу не нужен, не для того его посылали, чтобы он возвращался.

Нужно было спешить, чтобы успеть перехватить его раньше патруля. Я в последний раз бросил взгляд на ящик для тактических занятий, захватил у себя в комнате кое-какую одежду и побежал ему навстречу.

## ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ

### Строфа 1

Окно, как и все окна в городе, было распахнуто настежь. С улицы тянуло псиной. Штору выдуло наружу, и она трепетала по ветру, как праздничное полотнище. Или как капитулянтский флаг. Все перекрестки были перекрыты бронетранспортерами,

и из установленных на них репродукторов неслась бравурная музыка, перемежаемая сообщением комиссара Ружжо:

—...как один на площади в ознаменование великой нашей победы в Последней Битве... нерушимо у-у-у! Отпор всяческому врага-в-в-ав!..

Голос комиссара к концу фраз повышался, срывался на подвывание, и заканчивалось сообщение оптимистическим и восторженным ласком, в полном соответствии с заведенным нынче порядком в славном городе Парадизбурге.

Оглушительные марши и заливистый лай днем и хрупкая тишина по ночам, готовая в любую минуту взорваться топотом подкованных сапог на лестнице и требовательным стуком в дверь. А утром, чуть свет, когда о них, удовлетворенные ночной охотой, уходили спать, город распахивал настежь окна, потому что никому не хотелось быть заподозренным в укрывательстве чего-нибудь или упаси боже! — кого-нибудь. Рейсовые бронстранспортеры под присмотром изродов развозили людей на работу, и в опустевшем городе весь день грохотали марши, возносился к серому небу верноподданический лай.

Целыми днями я слонялся по квартире из угла в угол, стараясь не шуметь и не приближаться к окнам, и ждал Веронику. Она приходила уже затемно, после вечернего землетрясения, бледная, с темными кругами под глазами, молча запиралась в ванной, потом садилась в углу кухни, зябко кутаясь в халат, одну за другой курила невестку как добытые сигареты и молчала.

Часа через полтора, немного оттаяв, она начинала говорить, и рассказывала о своем главном редакторе, который решил, что он уже о б р а т и л с я, набросился на курьера редакции, прогрыз ему плечо, а потом тяжело мучился рвотой. Об организуемых в школах отрядах юных щенят и об одобренной Советом Архонтов программе подготовки к обращению. Рассказывая, она скрипела зубами, но, перехватив мой испуганный взгляд, спохватывалась, виновато улыбалась и показывала пальцы с коротко подрезанными ногтями.

— Не бойся, у меня не растут. И вообще, из женщин о б р а щ а е т с я лишь каждая десятая.

И уже ночью, свернувшись калачиком и уткнувшись носом мне в плечо, тихо и жалобно шептала:

— Боюсь, не могу больше. Давай уйдем, вот завтра и уйдем. Завстный Город или что другое, мне все равно. Страшно, что все

вокруг — это наше, наш страх, жестокость и ненависть. Мы породили все, что вокруг нас, и что теперь — бежать? Стыдно, но я больше не могу. Я хочу от тебя ребенка, но боюсь, что здесь он вырастет монстром. Давай уйдем отсюда, вот завтра и уйдем.

Она засыпала, во сне часто вздрагивала и вскрикивала, а утром, пряча от меня глаза, снова шла на свою работу, потому что еще верила и надеялась. Вот только на что?

А я лежал без сна до утра, и от гнетущего чувства вины перехватывало дыхание.

Это я виноват.

В том, что люди проиграли в Последней Битве.

В том, что Малыш Роланд остался с моим клинком в груди на грязном полу капонира.

В том, что город, снова ставший Парадизбургом, пытается обратить поражение в победу, и завтра будет праздник Ликования.

В том, что в этом мире изроды, оказывается, всегда были по обе стороны баррикад, вот только баррикад больше нет, и те, кто в изродов еще не обратился, из всех сил стараются, чтобы это произошло и напяливают на себя собачьи маски, стыдясь лица.

В том, что ложь становится правдой, а правда ложью, белое черным и наоборот.

Я виноват во всем, но что толку перечислять? Я устал, мне все надоело, мне все равно, что будет дальше. Может быть, именно поэтому я еще человек?

Выйти отсюда, прикрыть за собой дверь, чтобы не просочилась наружу грязь моего мира, и навсегда забыть дорогу.

Передернуть карту и сделать вид, что ничего не произошло. Грохнуть о стену калейдоскоп, чтоб брызнули во все стороны одинаково мутные стеклышки.

На улице снова грянул марш, и тотчас скрипнула входная дверь.

Вероника!

Я обернулся и передернулся от отвращения, увидев у нее в руках две рыжие клыкастые маски.

— Пойдем, — сказала Вероника. — А вдруг получится?



## Строфа 2

—...а у моего клыки подросли. Вчера так за руку тяпнул, я думала — откусит! Такой молодец, вот-вот озвереет по настоящему.

— Мясца нужно давать свежего, мне верные люди сказали.

— Я тоже слышала: утром и вечером перед сном. Лучше с кровью. Да где его теперь взять?!

— Нет, срунда все это. Суть не в клыках, а в шерсти. Ведь ясно сказано: обращению предшествует обшерстение!

— Будет вам лаяться! В такой праздник — грех. Сказано же в Писании: «Выйдет из Вечного Моря Зверь». Праздник-то какой — дождались!

— Ликуйте! Ликуйте! Все ликуйте!

— Победа! В Последней Битве победа!

— Кому сказано — ликовать! Не тебе, что ли?! Рожа безволосая!

— Соседа ночью взяли. Кто б мог подумать, такой из себя видный был, с клыками...

— И к нам заходили...

— Ликуйте!

— Да уж, теперь житуха настанет...

— Мало ли под кем не жили. Теперь под изродом проживем. Наше дело маленькое, обшерститься бы вовремя...

— Идут, идут...

— Идут!

Через площадь, разрезая толпу, шли изроды. Ногти Вероники врезались мне в запястье. Ее лица за клыкастой маской видно не было, но я и так знал, какое оно. Такое же, как у меня, бледное, напряженное и злое.

— Сейчас, вот сейчас, — шептала она.

То же самое шептали еще два или три десятка губ, скрытых под масками изродов из папье-маше. Остальные ликовали, как и было приказано.

Изроды неторопливо поднялись по ступеням Дворца Совета Архонтов, остановились у трибуны, задрали морды, к чему-то принюхиваясь. Вероника тихонько ойкнула, но тут же облегченно вздохнула: двустворчатые двери Дворца распахнулись, и из них выкатился, улыбаясь и приветственно размахивая руками, басилевс Лумя Копилор Первый в сопровождении супруги, по случаю великого торжества больше обычного качающей бедрами.

Басилевс поднялся на трибуну, дождался тишины, и его

многократно усиленный голос загрохотал над площадью:

— Изроды! Сограждане! Друзья!

Больше он не успел ничего сказать, потому что прямо перед трибуной на ступенях очутился вдруг какой-то шуплый парнишка, сорвал с себя маску, швырнул ее изродам под ноги, звонко выкрикнул:

— Смерть предателю! — и несколько раз в упор выстрелил в грудь басилевсу. Лумя Копилор упал, а парнишка взмахнул рукой и с криком «Вы же люди! Бей псов поганых!» бросился на неподвижно стоящих изродов.

Это было сигналом. В разных концах площади раздались выстрелы. Вероника сорвала с себя маску, в руке у нее оказался пистолет.

— Бей гадов! — крикнула она и вдруг поперхнулась, потому что увидела, как изроды на ступенях с похожим на смех кхканьем схватили парнишку и швырнули в толпу. В том месте взвился к небу многоголосый злобный и торжествующий вой.

— Эта тоже из них!

Множество рук протянулось к Веронике; ее схватили за волосы. Она не сопротивлялась, в глазах застыло недоумение и обида. Я бросился ей на помощь, но меня оттолкнули. Я тянул к ней руки и не мог дотянуться, я кричал и не мог докричаться.

Беснующаяся толпа поглотила Веронику, растворила в себе, а я снова — в который раз! — оказался в стороне. Меня не замечали ни изроды, ни люди, мне не было места ни по какую сторону баррикад. Рожденные мной, множество моих отражений дрались и им было за что драться. Они пробегали сквозь меня, и не было мне среди них места.

Я повернулся и побежал. А сзади накатывалась волна на полмира, нависла гребнем, захлестывала, и из груди рвался крик ярости, боли и отчаяния.

### Строфа 3

— Наконец-то, — сказал Варланд. — Долго же ты добирался.

Он ободряюще улыбался, и круглолицый Чилоба, любимец диавардов, тоже улыбался, и уже захмелевший бородатый Приипоцэка, и другие, знакомые и незнакомые Вечные Странники-маги, собравшиеся под просторными сводами шатра Варланда.

— Ну что ж, друзья,— сказал Варланд.— Не будем терять времени, приступим. Кто начнет?

— Пожалуй, я,— неторопливо сказал Чилоба, любимец диавардов.— Что можно сказать? Мир создан, он существует, он живет, если конечно, то, что там делается, можно назвать жизнью. Создатель мира,— он слегка поклонился мне,— перед нами. Но включим ли мы законы, по которым живет этот мир, в новый Свод — это вопрос. Давайте же разберемся.

— И разбираться нечего! — воскликнул какой-то юнец, пристроившийся в углу шатра рядом с Лялькой Гельгольштурбланц.— Разве это мир?! Я вот помню...

Варланду хватило лишь косого взгляда из-под нахмуренных бровей, чтобы юнец поперхнулся, густо покраснел и отполз за бочонок с полынным медом, на который с вождением поглядывал Приипоэка.

Напряжение оставило меня, и я почувствовал смертельную усталость. Ну ничего, здесь можно отдохнуть, в покое и безопасности разобраться со своими мыслями, а потом... что будет потом, я пока не знаю.

— Создатель нашел еще один способ проникновения в Дремадор,— продолжал между тем Чилоба, любимец диавардов.— Через сон, через мечту и желание настолько сильные, что становятся явью. Вспомните эпизод с Валериком, Серым и Кондером. Это один из законов мира.

— Позвольте! Позвольте! — раздался брюзгливый голос.— А что, собственно, произошло с этими троими, я как-то запамятовал. А было, право же, довольно любопытно, хотя... М-да, впрочем, какая разница? — Обладатель брюзгливого голоса плотнее закутался в пурпурный плащ и, кажется, приготовился вздремнуть, потеряв интерес к происходящему.

— Следующий закон,— сказал Чилоба,— заключается в том, что обитатели мира генерируют добро и зло, и это добро и зло материально. В конце концов накапливается критическая масса зла, материализуется в изродов, которые сами питаются злом, и, воюя с людьми, заставляют их генерировать еще большее зло. И, наконец, третий закон: обитатели мира — суть отражения создателя, который проживает в созданном им мире тысячи жизней одновременно.

— А я все-таки не понимаю! — снова вступил брюзгливый обладатель роскошного плаща.— Борьба добра со злом — тема,

конечно, богатая, мы сами в свое время вкусили... да. Но что же там произошло с этой дамочкой, э-э... Доменикой?

— Вероникой, — услужливо подсказал юнец из-за бочонка.

— Тем более! — разозлился вдруг брюзга. — Отравилась она или нет? А если нет, то почему создатель не узнал ее в Институте? Ничего не понимаю! А заморцы, которых сначала не было, а потом они и вовсе исчезают по приказу басилевса?! Нет уж, друзья мои, если говорить по-нашему, по заветногородскому счету, то все это — простите, лабуда! Вот.

Он приготовился было снова задремать, но какая-то мысль не давала ему покоя, и он проснулся окончательно.

— Я вам вот что скажу, уважаемые маги и к ним причисленные, — сказал он. — Мнение мое будет такое: ни в коем случае и никогда!

Я вдруг понял, кого мне напоминает уважаемый маг. Комиссар Ружжо! Но он тут как очутился?! А юнец за бочонком, сколько у него рук? Пять, семь, двадцать четыре? Не может быть!

— Добро и зло — это мы понимаем, — продолжал пурпурноплавцовый. — Но почему, спрашивается, действует только зло? А добро как же?

— Есть и добро, — возразил Чилоба, любимец диавардов. — Заморы, то есть места, в которых не действует оружие. Землетрясения, с помощью которых земля, вероятно, хочет избавиться от людей или хотя бы вразумить их...

— Ой-ой-ой! Оставьте, милейший, оставьте! — поморщился Ружжо. — Образованный, а туда же! Нет, я думаю, молодому человеку нужно еще поработать. Нельзя эти, с позволения сказать, законы, включать в новый Свод.

— А я бы все сделал по-другому, — проворчал Приипоцэка, почесывая бороду. — Составляющие те же, но все по-другому. Вот когда я творил одобренный всеми свой замок...

И только тут до меня, еще не отдышавшегося после бегства с площади, дошло наконец, чем заняты маги. Спокойно и со знанием дела они препарируют мой мир! Разбирают на кирпичики, разглядывают, качают мудрыми головами и цокают осуждающе языком!

— Пойдите! — закричал я. — Что вы делаете?

Варланд вопросительно посмотрел на меня.

— Ты же пришел, — полуутвердительно сказал он. — Ты сделал выбор и пришел, разве нет? Ты создал мир, но он тебе

наскучил, ты устал от него и пришел к нам, создателям тысяч миров. Мы играем, пока не надоест, а потом...

— Гиперборейцы,— со вздохом сказал я.— Счастливишки, живущие вечно. Маги, равнодушно отворачивающиеся, когда вам надоедает ваше творение. Но у меня один мир!

Маги зашептались, с осуждением поглядывая на меня. Варланд прокашлялся и сказал:

— Уважаемые маги, я вынужден извиниться. Зачем же ты пришел? — спросил он у меня.

Я пожал плечами. Что я мог сказать? Что устал искать и не знаю, что делать с тем, что имею?

— Да,— сказал Варланд.— Ты еще не сделал выбора. Ты еще ищешь...

Кто-то тоненько хихикнул, кто-то кашлянул. Припоцэка зачерпнул чашей из бочонка, выпил и, вытирая бороду, сказал:

— Делов-то. Пусть сходит.

Варланд обнял меня за плечи и, подталкивая, направил к выходу.

— Сходи, сходи,— сказал лон.— Убедись, а потом будешь выбирать. Мы подождем.

Я отодвинул полог шатра и ступил на дорогу..

#### Строфа 4

...которая спускалась с холма к поселку.

Дом я узнал сразу. Он стоял в стороне от поселка, и неподалеку было огромное кукурузное поле, длинные зеленые листья шептались над теплой землей.

Не сдержавшись, я гикнул и припустил вниз по склону. Стремительно приближаясь, Дом вырастал на глазах. Дом! Мой Дом с шелковицей у порога и ночными фиалками, надежный и уютный, наполненный доверху знакомыми родными запахами, счастьем и добротой.

Мой Дом!

Не останавливаясь, я влетел в калитку, оцарапался о куст крыжовника, засмеялся счастливо и вдруг словно нырнул в прорубь, дыхание перехватило и бешено заколотилось сердце.

Первой реакцией было возмущение и ярость. Штучки Варланда! Но нет, все правильно. Чего-то такого я подспудно ожидал, но не хотел верить, гнал от себя эти мысли. И вот оно передо мной.

На крыльце сидел светловолосый голубоглазый мальчишка с удивительно знакомой физиономией. Мое появление его не испугало, он отложил в сторону старенький калейдоскоп, которым играл, и с любопытством уставился на меня.

— Вам кого?

Я не нашелся что ответить, перевел дыхание и в свою очередь спросил:

— Ты что здесь делаешь?

— Живу, — спокойно ответил мальчишка, немного подумал и добавил: — Дома нет никого. Вы что, заблудились?

Я кивнул.

— Ага, — сказал мальчишка довольным тоном. — Я же говорил, что это со всяким бывает, а мне все равно нагорело. Вчера я тоже заблудился... там, — он махнул в сторону кукурузного поля.

— И уснул на земле? — спросил я.

— Откуда вы знаете?

Я пожал плечами. Не мог же я ему сказать, что знаю про него все. И даже знаю, что будет дальше.

...Странный дядька, как угорелый влетевший во двор, попросит воды, а когда я войду в дом, он возьмет калейдоскоп и будет его разглядывать, словно видит эту штуку впервые, а я буду следить за ним из окна кухни. Потом, не дождавшись воды, дядька уйдет.

— Принеси, пожалуйста, воды, — попросил я.

Мальчишка убежал в дом, а я принялся разглядывать калейдоскоп, старательно делая вид, что не замечаю любопытного глаза, наблюдающего за мной из-за шторы на кухне.

Вот и все, думал я. Хотел — получи. Перед тобой Дом, где ты был счастлив. Тот Дом, куда ты хотел привести Веронику. Тот Дом, ради которого ты бежал из города; в поисках которого метался по Дремадору и отказывался от того, что имеешь. Скверную штуку играет с нами память, она делает нас слабыми; то, что было выглядит гораздо привлекательнее того, что есть.

Ты доволен? Это твой Дом и не твой, он никогда уже не станет твоим. Так и должно быть, думал я. Все верно, не стоит возвращаться туда, где был счастлив. Возврата попросту нет. Такие дела.

Странно, но у меня не было ощущения потери, наоборот. Облегчение. Огромное облегчение и слабость выздоравливающего, которая, конечно же, пройдет.

Я осторожно положил калейдоскоп на крыльцо и пошел прочь от дома.

...тот дядька ушел. Но он появился еще раз, еще и еще, подолгу говорил с родителями, убеждал, и наконец они сдались и продали ему Дом, а мы уехали туда, где я больше не был счастлив.

Дорога поднималась на холм. Нет, нет,— думал я. Возврата нет. Теперь я это понимаю. Варланд говорил, что выбор есть всегда. Я выбрал.

Я шел быстро и думал о Веронике, которую нужно обязательно найти, о Камерзане, о Пороте Тарнаде, о Копилоре и многих других, кого придумал и вызвал к жизни сидя на крыльце и играя калейдоскопом.

На вершине холма дорога разветвлялась и стояли два указателя: «Заветный Город» и «Новый Армагеддон». Лишь на секунду задумавшись, я выбрал дорогу и, не оглядываясь, быстро зашагал по ней.

## РАЗРУШИТЬ ИЛИОН

### 1

Я счастливчик. У меня жена ведьма.

### 2

Каждый вечер, возвращаясь домой с работы, я гадаю, что ожидает меня за дверью на этот раз.

Весело громыхнут серебряные цепи подъемного моста, затрубят горнисты на стенах, взовьются и затрепещут разноцветные флажки, бабахнет пушка, распахнутся кованые ворота...

Или пахнет сиренью, забормочет, засверкает медным боком самовар под яблоней, и пчелы, сонно гудя, будут кружить над янтарными сотами.

Что будет на этот раз, мавританский дворец, хижина рыбака, княжеский терем, приткнувшаяся к скале над пропастью сакля горца или висячие сады?

Честно говоря, разнообразие утомляет.

На всякий случай я вынул из портфеля зонтик. Последнее время ей полюбились дожди. Я находил ее в стогу под березой на краю осеннего поля. Чугунные тучи цеплялись за верхушки деревьев и сеяли мелкий-мелкий дождь. От моего прикосновения она вздрагивала, виновато улыбалась, спешно навешивала над лесом радугу и тряпкой принималась собирать воду, потому что у соседей снизу отсыревали обои и они грозились пожаловаться в домоуправление.



Что-то новенькое.

Крохотная прихожая, соломенный половичок на блеклом линолеуме у двери, бормотание радиоточки на кухне.

Давно бы так. Одумалась.

И комната тоже была обычной. Утром за окном цвела сакура, и на вершине Фудзи сидело мохнатое облако, а сейчас достраивался второй этаж универмага, полыхала сварка, и два подъемных крана тягали поддоны с раствором. Я включил телевизор, сел в кресло и стал придумывать слова, которыми встречу Вику, когда она кончит возиться на кухне и придет звать меня ужинать.

Я придумал двести семьдесят три тысячи ласковых и одобрительных слов, страшно проголодался, а она все не шла.

Один раз она уже запаздывала с ужином, в Шотландии градом побило вереск, тайфун «Феличита» разогнал краболовные суда у побережья Камчатки, в Аргентине забастовали водители автофургонов, а на Вологодском молокозаводе сломался сепаратор. Она очень расстроилась и успела приготовить лишь макароны по-флотски.

Это не должно превращаться в систему. Я отправился на кухню.

В духовке «Электра-1001» не шкворчало, на конфорках не булькало, из крана капало. Из съестного на столе были только талоны на колбасу и масло, придавленные солонкой, чтобы не унесло сквозняком. По рассыпавшейся вокруг солонки соли бродил шунылый таракан.

Я разозлился, рассвирепел, метал громы и молнии, они рикошетили, царапали полировку кухонного гарнитура «Мрия» и шипели, попадая в мойку.

Я потерял над собой контроль, прогнал таракана, сложил в бумажник талоны и включил чайник.

Я выпил цистерну грузинского чая и съел столетний запас печенья. За окном падали листья, потом пошел снег, грянула гроза, и опять пошел снег.

Прошла тысяча лет. Татьяна Веденеева помогла Хрюше и Степашке разобраться в морально-этических аспектах жадности, сыр на тарелке скукожился и прослезился.

Прошла еще тысяча лет, началась программа «Время», и в дверь позвонили.

Это была не она. Это был кентавр Василий. Василий был убежденный хронический холостяк, приходил к нам по вечерам смотреть ритмическую гимнастику и всегда опаздывал к началу. Василия я недолюбливал, но всегда любил гречневую кашу. Василий был неряшлив и зануда, за ним приходилось убирать каштаны, но он приносил гречневую крупу, которая полагалась ему как ветерану двух Пунических войн.

Василий протянул пакетик гречки и грустно спросил, заглядывая через мое плечо в комнату:

— Опоздал?

От него пахло сигаретами «Кент», конюшней и дезодорантом «Мистер», который Вика подарила ему на очереднотысячелетний юбилей. В кудрявой бороде застряли репы. Я посторонился. Василий принял это за приглашение и процокал в комнату. В хвосте у него тоже застряли репы.

Устраиваясь перед телевизором, Василий с тяжким кряхтением подогнул передние ноги с опухшими бабками, уперся руками в пол, вытянул в сторону ревматические задние, отдышался и только после этого спросил:

— А где Вероника?

И тут меня прорвало. У меня выросло сто рук, одни я засунул в карманы, другие скрестил на груди, третьими размахивал, остальными потрясал.

— Я не знаю, где Вероника! — орал я. — Мне нет никакого дела, где Вероника! И вообще! Я за ней не слежу. Вот.

— Где-где-где она может быть? — надрывался я, млея от ярости. — Где она может быть, когда я пришел с работы. Голодный. Усталый. Ни тебе ужина, ни тебе отдыха.

— Она думает, это просто — с девяти до шести, — таял я от жалости к себе. — Она думает, я это так оставлю. Она думает, я молча проглочу. Она думает...

— Где она может быть? — прошептал я. Лишние руки отпали, Василий смахнул их хвостом под диван, оставшимися двумя я схватился за голову. — Где она может быть?

— Может быть, она на работе? — предположил Василий. — Ты звонил?

Я не звонил, я не знаю ее рабочего телефона и не знаю, есть ли он вообще. Я не знаю, где она работает. В каком-то институте что-то делает с пленками или растворами, которые на свету светлсеют, а в темноте темнеют. Что-то она мне пыталась

рассказывать, один раз, очень давно... Какая может быть работа, когда я дома?!

— Или у подруги?

— Нет у нее подруг!

Василий покряхтел, почесал пятерней бороду и сказал:

— Тогда ее похитили. Какой-нибудь прощелья из нынешних. Как ее пра-пра-пра-бабку хамоватый Парис. Илион будет разрушен...

И он выставил на стол бутылку амброзии очищенной.

— Может, так оно и лучше, — сказал он. — Ты же у нас нормальный, а она, как ни крути, из этих..

4

Фарид Сейфуль-Мулюков рассказал, какого цвета была грязь, которой Джордж Буш облил Майкла Дукакиса, и чем тот ответил. Кентавр Василий забрал пустую бутылку и ушел. Поутру он будет ее сдавать. После амброзии и нектара сладкого першило в горле.

Было плохо.

Я лежал в темноте и слышал, как сдвигаются материки, тают полярные шапки, и на Землю оседает космическая пыль.

Да, я нормален, я совершенно нормален. Но где были ее глаза раньше?

Ну и пусть, так даже лучше. В конце концов это любому надоест — вечером засыпать на ложе под балдахином, а утром просыпаться на луту и босиком по росе тащиться в ванную.

А вкус у кефира одинаков, пьешь его из серебряного кубка или голубой чашки в цветочек.

Я нормален.

Это раньше я хватал звезды с неба. Там, поближе к горизонту, где до них можно дотянуться и никто не заметит. Я носил их ей, перебрасывая с руки на руку, как картошку из костра. К утру звезды остывали, и я потихоньку водворял их на место. Только один раз я сорвал звезду в зените, но она потом куда-то подевалась.

Теперь я не могу себе этого позволить, у меня ответственная работа. Понимать должна. Зато я подарил ей стиральную машину «Эврика-полуавтомат».

Чего еще надо?!

Да, мы тысячу лет не были в театре, зато я выписал ей «Спутник кинозрителя».

Как так можно?! Что за безответственность?! И это в конце квартала!

Догнать, вернуть, примерно наказать, чтобы исповадно! Ишь, гены в ней взиграли! Знаем мы эти гены. В конце концов, у нас штампы в паспорте.

О господи!

Я стартовал с дивана и едва успел затормозить у стены напротив. В коробке из-под «Ассорти», где у нас хранились документы, я разыскал свой и се паспорта. Штампики были на месте, и это меня немного успокоило.

Куда она без документов?

А если все-таки Парис?!. Ерунда, я бы заметил.

А если?

Широкоплечий, сильный, веселый, наглый кретин.

Я угнал со стройки экскаватор и перерыл всю квартиру. Ничего. Ни письма, ни номера телефона, ни записки, ни фотографии. Умело скрывала.

Я вернул экскаватор на место, сел в кресло и стал думать.

И очень скоро додумался.

## 5

Над ухом рывкнуло:

— Морской проспект, следующая — Дом Ученых. Приготовиться к высадке!

На стенке кабины водителя загорелось красное «Пошел!», от комка пассажиров отклеилась и выпорхнула в темноту стайка девочек в вареных куртках и черных колготах, за ними, соблюдая равнение, десантировались три курсанта с уже сформировавшимися лбами, две старухи-дачницы с мешками, и я в смятении чувств.

Девчонок ветром сносило куда-то в сторону аспирантских общежитий, курсанты сделали боевой разворот и пошли на перехват, взрывая форсунками.

Меня опустило перед дверью, обитой загорелой женской кожей, с бронзовой табличкой над глазком «Марк Клавдий Марцелл».

Я позвонил. Глазок похлопал ресницами и прищурился.

Отворила красивая рыжеволосая девица. Зрелые прелести распирали короткий джинсовый халатик с потертостями на

покатостях. В одной руке девица держала янтарный мундштук с сигаретой, в другой — старинного вида джезvu. Ее звали Анютой, в нежном возрасте она была аральской русалкой, а теперь подвизалась в кооперативе по производству черной икры и умела жить.

— Заползай, — Анюта изобразила реверанс, отчего нижние кнопки халатика звучно расстегнулись, и страхнула в кофе столбик пепла.

Я заполз. Пахло кофе, ментоловыми сигаретами «Салем» и еще пахло напоминанием о Веронике. Она здесь!

Я оттолкнул Анюту и ринулся в комнату. Тут курили. Давно и много. Сизые пласты табачного дыма плавали не смешиваясь. На них стояли несколько тарелок, служивших пепельницами, и пластмассовая ваза с апельсином, скрюченной воблой и инкунабулой Иегуды Абарбанеля «Диалоги о любви». На стене среди жутко оскалившихся ритуальных масок, побитых молью ангельских крыльев и календарных японок висела сиреневая афиша спектакля «Ах, как бы нам пришить старушку?», а на диване, в мягких креслах, на стульях и на свернутом в рулон паласе, прислонившись к книжным шкафам, живописно расположились молодые парни и девушки, перебрасываясь увесистыми импортными словами «самодовлеющий эксгибиционизм», «маразм», «неокретинизм» и «омнеологизм».

Я разыскал Марка Клавдия Марцелла в глубоком кресле. Белокурое ангельское создание шалашиком сложило над ним свои крылья и предлагало сердце. Другие точно такие же создания ожидали своей очереди на балконе, волнуясь и расправляя перышки. Марк К. Марцелл от сердец не отказывался. Он складывал их в морозилку, ожидая, когда количество перейдет в качество.

Ему нужно было одно сердце. И я знал, кому оно принадлежит.

Я схватил его за грудки и вырвал из кресла.

— Где она? — прорычал я. Сердце выпало у него из рук и откатилось на середину комнаты. Кто-то поскользнулся на нем и обрушил пласт дыма с пепельницами. Ангелицы на балконе возмущенно захлопали крыльями, маски на стенах ухмылялись и подмигивали, Анюта затянулась и выпустила мне в лицо струю ментолового дыма. Марк К. Марцелл легонько шлепнул меня по рукам, и они разжались.

— Ее здесь нет, — сказал он. — Смотри сам.

И я посмотрел.

Кроме Анюты тут были:

похожий на сломанный циркуль лидер рок-группы «Аукцион» Давид, высокий, худой, с горящими глазами и паучьими пальцами.

Девочка с голубыми глазами и трепещущими ресницами, которая писала стихи про души китов и деревьев. Имени ее никто не помнил, она была просто Девочкой с Голубыми Глазами.

Жидковолосый и прыщавый экзистенциально-натуралистический писатель Витюня, автор непечатной поэмы «О, черт возьми, какая мука». Решив быть ближе к земле, он в одночасье отверг сигареты и папиросы, курил сигары и вместо спичек носил кресало.

Вовка-йог, бородатый дётина в джинсовой хламиде и с четками на шее. Физик по образованию, он год работал в Центральном парке сторожем, потом вдруг оказался директором столовой на пристани, продержался до первой ревизии и ушел малевать афиши в какой-то Дом культуры.

Трое стриженных под горшок крепких парнишек в косоворотках, яловых сапожках и с топориками за витыми поясками. Они пришли то ли кого-то спасать, то ли бить, да так и остались.

Смазливая девица с устрашающей длины фиолетовыми ногтями, умеющая выпускать дым через нос аккуратными колечками и, кривя презрением пухлые губки, всех и вся обзывать быдлом.

Разочаровавшаяся в жизни студентка-первокурсница с лицом травести на пенсии и по очереди наставляющие ее на путь истинный два поклонника Рериха. Всю троицу называли попросту рехнувшиеся.

Тут было еще много разных людей.

Тут не было Вероники.

Но запах ее волос, движение руки, лучистый взгляд, ямочка в уголках губ, звук шагов...

Я не мог ошибиться!

— Так она ушла от тебя! — догадался Марк К. Марцелл и облизнулся. — Час пробил, и она ушла. Она же ведьма, а ты нормален!

Фиолетовые ногти впились в плечо, прокололи пиджак и кожу. Сквозь дырочки со свистом вышел воздух, и я упал рядом с Анютой. В руках у меня оказалась чашка кофе.

— Все мы немножко ведьмы, — прошептала Анюта и зрелой выпуклостью потерялась о мое плечо. — Я свободна, а ты любишь икру?

— Как интересно, — сказала Девочка с Голубыми Глазами. — И что ты теперь будешь делать? Повесишься?

— Пороть! Кнутом и по субботам! — рявкнули косоворотки. — Чтоб корни не забывать! Знаем мы, чьи это происки!

А циркуль Давид ничего не сказал. Он подключился к сети, и из колонок рявкнуло про жизнь, которая аукцион, только после удара молотка вместо «продано» звучит «прожито».

Вместо кофе в руке было что-то зеленое в граненом. Я выпил, чтоб не расплескалось, а потом еще раз за компанию и за знакомство, и чтоб завить веревочкой, и чтоб на «ты», а икра на губах Анюты была в самом деле зернистая, не подумай, что желатин, а ты миленький, и сюда, и вот сюда еще, всегда хотела нормального, они надежные и на них можно положиться, на тебя можно положиться?

И все было хорошо, и все были хорошие, добрые и умные. А жареную колбасу едят только самоубийцы, в ней прорва канцерогенов, которые подавляют высшую нервную деятельность. А если ты не самоубийца и жить хочешь долго, то дышать должен поверхностно и редко, факт проверенный, все болезни от неправильного дыхания. Но если все-таки помер, то не волнуйся, люди на самом деле не умирают, а переходят в другой план. Их семь, этих планов: астральный, ментальный, деваканический, будхи, нирваны и еще пара каких-то.

А потом говорили о Сизифе, и я хотел сказать что-то умное, но оказалось, что это вовсе не тот Сизиф, а другой, которого придумал Альберт Камю, про которого я помнил, что он то ли критик, то ли основатель экзистенциализма.

А руки у Анюты были мягкие и теплые, и из русалок ее не выгнали, она сама ушла.

А Вовка-йог советовал забыть и выбросить, потому что женщины — пыль, осевшая на наших стопах на пути в Вечность.

А потом появились внимательные глаза Марка К. Марцелла и сказали, что такому как я только свистнуть, и она мне не нужна. Зачем она мне нужна? Это просто привычка. А на каждую привычку найдется отвычка. Я ее забуду, я ее уже забыл, потому что все они одинаковые.

— Она нужна мне, — пробормотал я.

— Зачем? Носки постирать может и Анюта. Верно, Анюта?  
И Анюта говорила, что верно, а в голове у меня тихонько разгоралась искорка.

— Она нужна мне, — повторил я, и искорка превратилась в костер.

— Ты уже забыл ее.

— Я помню!

Искорка полыхнула, и я стал видеть и слышать, и застегнул кнопки на Анюте.

— Я ее помню!

— ...до-о-лгая па-а-мьять хуже, чем сифилис, — услышал я, — осо-о-бенно в узком кругу...

— Я найду ее.

— ...идет вакханалия воспоминаний, не пожелаешь и врагу.

— Ты не найдешь. Ты нормален. Ты просто человек. Ты помучаешься, да и забудешь.

— Найду!

Я все уже видел и слышал, а на ритуальные маски и календарных стыдливых японок, на розовую плакатную старушку, на нахохлившихся ангелиц, на спины спящих в шкафах книг, смешиваясь с застоявшимся табачным дымом, водопадом обрушивались тридцативаттные помои.

Марк Клавдий Марцелл понял, что разгорелась искорка, что я вижу и слышу, и замерзла и упала на пол его улыбка, покрылись пупырышками японки, захлопнули пасти маски, а на ушах у косовороток выступил иней.

— Ты не найдешь потерянное, не вспомнишь забытое, не...

— А идите вы все в болото! — в сердцах сказал я.

Комната вдруг стала растворяться, лица бледнеть, зыблиться, как отражение в луже, когда ее поверхности коснется ветерок. Вот остались только туманные контуры, блеск браслета на тонком детском запястье, презрительная складка губ, фиолетовые ногти, витой поясчок, неправильный овал чепцов, повисших над пустым уже креслом... Дольше всего держались айсберги в глазах Марка Клавдия Марцелла, но вот исчезли и они.

Резко пахнуло гнилью. Воздух стал студенистым и липким, свился спиралями в сизый туман, и из тумана забулькало, зачавкало, палас на полу зазеленел ряской, ноги у меня промокли. Я запрыгнул на диван, который был уже не диван вовсе, а поваленное гнилое дерево, оно хрустнуло, подалось под ногами,



я закричал и по скользким кочкам побежал к еще видному за туманом берегу.

7

А потом стрелки часов прилипли к циферблату, и время остановилось. Без пяти пять.

Я хотел постирать испачканные болотной тиной брюки и не смог этого сделать: струя воды остекленела на полпути от крана до тазика.

За окном застыл приклеившийся к небу самолет, и никакая сила не смогла бы сдвинуть с места взметнувшуюся от дыхания младенца паутинку.

Я посмотрел в зеркало и не увидел в нем себя. Я там вообще ничего не увидел.

Мир, в котором Вероника ушла от меня, умер.

Без пяти пять.

Я выбежал на улицу и заметался по мертвому миру. Я сшибал неподвижных людей, и все светофоры горели красным. Я обежал все дома, все квартиры, парки, кинотеатры и больницы. Я обежал весь мир и убедился в том, что и так понимал: Вероники здесь нет.

Но я так не хочу! Что мне делать в этом мертвом мире?!

Я звал, и слова не могли сорваться с губ. Я кричал, и крик рассыпался у моих ног. Я хотел найти и не знал, где искать.

Меня распирала обида, боль, злость и отчаяние. Я готов был взорваться и разлететься миллионом мелких кусочков, но вовремя вспомнил о монохроматичном Сереже.

Было без пяти пять.

8

Сережа был адекватен самому себе, инвариантен относительно всех и всяческих преобразований и монохроматичен.

— Ничего удивительного, — сказал он. — Все думают, что происходящее с ними уникально. На самом деле у всех все, как у всех. Просто год такой. Ты знаешь, какой нынче год?

Я знал, какой нынче год, и мне не было дела до того, что и как происходит у всех. Мне нужна была помощь, и Сережа мог ее оказать.

— Год Уходящей Женщины, — сказал Сережа. — Посмотри в окно. Разуй глаза и посмотри.

Я посмотрел. Женщины ходили. Уходили или приходили, рвались навстречу или спасались бегством. Мужчины оценивающе окидывали, прищуривались, маслянили взгляды, цокали языком, спотыкаясь догоняли, распахивали навстречу, чмокали в щску.

Мне-то какое до них дело?!

Сережа, не вставая с дивана (он вообще с него не вставал), потянулся к полке и снял ящик с картотекой. Под умелыми пальцами замелькали прямоугольные картонки.

— Вот, смотри. Ольга, двадцать шесть лет, ушла от сына, любимой собаки, попугая, двухкомнатной квартиры и мужа. Попугай сдох, муж сдал кандидатский минимум.

— Татьяна, двадцать семь лет, ушла от двух детей и мужа. Ночует у знакомых и рада, что каждый день может ходить на работу.

— Галина, двадцать восемь лет, детей нет. Просто ушла, но пока не знает зачем.

— Елена, двадцать четыре года... Продолжать? Тысяча триста сорок восемь случаев, не считая твоего. И это только за последние месяцы. А до начала этого года у всех было все нормально. Как ни крути — Год Уходящей Женщины... Есть случаи просто уникальные. Вот, например...

Меня не интересовали уникальные случаи, меня заинтересовала тенденция.

— Они просто ушли или ушли к кому-то?

Сережа хмыкнул.

— Все спрашивают именно об этом. Женщины просто так не уходят. Конечно, к кому-то. Но не это важно...

Я взвыл.

От меня. К кому-то. Молча. Тайком. И сейчас с ним. В то время, как я... И стога на краю осеннего поля. Знаем мы эти стога!

Меня обокрали. Средь бела дня раздели до нитки и выставили на посмешище. Меня трясло. Жажда мщения наполнила меня до краев и от тряски выплескивалась наружу.

Монохроматичный Сережа не удивился. Он молчал и ждал, когда меня протрясет. Со своего дивана он наблюдал такое количество житейских коллизий, трагедий, драм, комедий и фарсов, что не удивлялся уже ничему. Удивляться — не его

свойство. Его свойство — понимать и помогать. Его девятиметровая комнатенка в аспирантском общежитии целиком состояла из понимания. Со своими бедами к нему приходили девушки, что-то потерявшие или нашедшие не то, что нужно. Просто отбросить беды они не могли и оставляли ему на хранение, но потом почему-то забывали забрать. Они просили помощи, и Сережа не отказывал. Он вынимал пустоту у лишившихся сердца ангелиц и вместо нее вкладывал понимание. Передо мной к нему забегали девчонки в вареных куртках и черных колготках, которых перехватили курсанты на форсаже. Крохотные беды, еще не классифицированные и не убранные в ящик под диван, валялись на холодильнике-вперемешку с обертками от конфет, которыми девчонки вполне утешились.

— Ну, ладно. Давай ее сюда,— сказал монохроматичный Сережа.— Твою беду я сохраню в отдельной коробке.

Я помотал головой. Говорить еще не мог.

— Не отдашь?

Я опять помотал головой. Сережа понял.

— Понимаю, сказал он.— Понимаю. Праведное «за что?» и жажда мщения. Никто не хочет ждать, все рвутся догонять. Ну догонишь, схватишь за руку, потащишь за собой. А дальше? Логичное продолжение — запрешь в четырех стенах, бросишь в каменный мешок, посадишь на цепь. Так?

— Что же делать?

— Ждать. Ждать, когда придет сама. Сама. Тебе ведь нужна не та, которая ушла от тебя, а та, которой нужен ты. Когда она станет такой, она придет. Сама.

— А если не станет?

— Если будет знать, что ждешь, станет.

По-моему, его уверенность граничила с безумием.

— Ты многого дождался?

— Дождусь,— уверенно сказал Сережа.— Раньше я тоже метался. Вот смотри,— он завернул рукав рубашки. Повыше запястья рука была усеяна оспинами от затушенных об нее сигарет. Некоторые ожоги были совсем свежие.— И она приходила, перевязывала, жалела, а потом... потом опять уходила. Нельзя давить, хватать за руку и тащить за собой. Нужно просто ждать. Она знает, что я жду. Я звоню ей каждый день и говорю, что жду. По каким бы дорогам она ни ходила, Рим для нее там, где я ее жду. Она сама придет.

«Черта с два!» — хотел сказать я, но вовремя спохватился и сказал совсем другое.

Сереза помрачнел и надолго замолчал. Я ждал.

— Ты сошел с ума, — наконец сказал он.

— Может быть.

— Туда можно войти, но вернешься уже не ты. Ты, но не такой.

— Посмотрим.

— Или вообще не вернешься.

— Прорвемся.

— Не ожидал от тебя. Впрочем, от Вероники тоже. В конце концов, это не по-товарищески! Слушай, не пори горячку, а? Хочешь шоколадку? — совсем уж жалобно предложил Сереза. — Я в одном буржуйском журнале прочел, что шоколад в таких случаях здорово помогает.

Он начал многословно распространяться о пользе шоколада, а я молчал и ждал. Я уже знал, что он не откажет. Он просто не может, не умеет отказывать. Циркуль Давид, помнится, полгода держал у него ударную установку и мотоцикл «Хонда» с коляской, девочки-аборигенки, прибегая зимой на танцы, заваливали комнату до потолка своими шубками, сапожками и теплыми колготками. И никому Сереза не отказывал. С какой стати он мне откажет? Да и не сделается ничего с его сокровищем.

— Ладно, — со вздохом сказал Сереза. Похоже, он здорово жалел, что в свое время проговорился мне. Он задернул шторы и открыл дверцу холодильника. Я вздрогнул: в точно таком же холодильнике Марк Клавдий Марцелл хранил ангельские сердца. Но Сереза вынул из морозилки не сердце. Там, обернутая в несколько слоев плотной черной бумаги, содержалась его неразделенная любовь. Содержалась давно, и никто, даже я, не знал, кому предназначена вторая половина.

Сереза тщательно протер стол и только после этого освободил свое сокровище от бумаги и укрепил посреди стола на штативе от фотоаппарата.

Неразделенная любовь размером и формой была как кирпич. Она была полупрозрачная, гладкая, с белыми прожилками внутри, светилась розовым светом и почему-то пахла рыбой.

— Видишь, — прошептал Сереза. — Посередине трещинка. С каждым днем она все глубже и глубже. Та, которая должна прийти, придет и возьмет свою половину. Ждать осталось не-

долго.

Я никакой трещинки не заметил. Сережина неразделенная любовь структуру, по-моему, имела монокристаллическую.

— Вот, смотри вдоль грани, — сказал Сережа. — Туда смотри, вглубь. Зря ты это затеял... Смотри, а потом, если не передумаешь, иди.

Я добился своего, и Сережу мне стало немного жаль. Он имел и дал мне то, чем не мог воспользоваться сам. Я хотел сказать ему какие-нибудь добрые слова, но ничего не смог придумать. Не до того мне было. Я вплотную приблизился к гладкой поверхности кристалла и стал смотреть.

И ничего не увидел, кроме своего отражения. Мы долго смотрели друг другу в глаза, я и мое отражение. А потом в зрачках отражения мелькнула неясная тень. Я сразу догадался, кто это, и едва не вскрикнул. Тень пропала. Вместо нее я увидел множество крохотных людских фигурок, волокущих каменные глыбы. Они укладывали глыбы одна на другую, с невероятной быстротой выстраивая стену, и скоро она была готова. Фигурки пропали, стена отдалилась, и стало ясно, что она окружает стоящий на равнине огромный город. Вдали виднелась гряда пологих холмов, а еще дальше неясно синел многовершинный горный хребет. Город отдалялся и стал едва заметен у подножия гор. Послышался глухой рокот разбивающихся о берег волн, звон металла и крики. Черные крутобокие суда по волнам неслись к берегу. Длинные весла разом вспарывали воду. Брызги попали мне на лицо, и я зажмурился. А когда протер глаза, передо мной была дорога, прихотливо выходящая среди поросших кустарником холмов. Я шагнул, и ноги по щиколотку погрузились в горячую шелковистую пыль.

Небо было того экономичного немаркого цвета, который жены выбирают для рубашек нелюбимых мужей, а коменданты общежитий для панелей в коридорах. Дорога была прямохожей и прямоезжей, вдрызг разбитой. На обочинах валялись обломки надежд и разбитые судьбы. Надежды еще посверкивали кое-где радужным сквозь ржавчину, а судьбы топорщились гнутой арматурой. Кто-то в сером на склоне холма пытался выправить арматуру своей судьбы газовой горелкой.

Дорога была бы обычной...

Следы велосипедных шин, копыт, кроссовок, колесниц, гусениц, рифленых подошв «Саламандра», лаптей, онучей, сандалий и женских шпилек покрывали ее многослойными письменами.

Читать их я не умел.

Дорога была бы обычной, если бы не одна строчка, выписанная легчайшими, глубиной в одну пылинку, следами босых ног тридцать четвертого размера.

Вероника!

Она здесь прошла. Это ее следы, и шрамик от пореза на левой пятке. Прошлым летом в Гагре она наступила на стекло. Она могла в долю секунды заживить ранку, но не стала этого делать. Я нес ее с пляжа на руках. Теплую, родную, пахнущую морем и солнцем, очень тихую и нежную и чувствовал... Черта с два объяснишь, что чувствовал! Южные люди останавливали свои витриноподобные авто и предлагали помощь, продащицы киосков с газводой выглядывали из-за павлиньих перьев и зеленели от зависти, а вскоре весь город высыпал на улицу, и, стоя на тротуарах, смотрел, как я несу мою Веронику. Я нес ее, и не было усталости. Я готов был нести ее на край света, но принес в дом, в котором мы снимали комнату у славного армянина Макар Макарыча. Ночью я протянул руку за окно, и самая крупная звезда из зенита скатилась мне на ладонь.

А потом наступило утро, и у меня ныли мышцы на руках. Я хотел найти звезду, чтобы водрузить ее на место, пока никто не заметил пропажу, но она куда-то подевалась. На улице слишком многие обращали на нас внимание, и мне это не нравилось. Я увез Веронику домой.

Не тогда ли начались осенние мелкие дожди?

А ведь верно! Как это я раньше не догадался. Неужто кто-нибудь из тех попсовых пляжных мальчиков, что материализовывались рядом с Вероникой, стоило мне на минуту ее оставить?

Я замедлил шаг, остановился, но в это время впереди, из-за поворота послышался голос, который я узнаю среди тысячи голосов, журчащий смех, между деревьями мелькнуло знакомое платье...

Вероника!

Сзади рывкнул клаксон, я отскочил в сторону, споткнулся о

чью-то одежду и упал. Мимо пролетел кто-то, одетый в белые «Жигули» девятой модели. Кажется, это был Марк Клавдий Марцелл. Следы Вероники пылью поднялись над дорогой и щекотали ноздри. Я чихнул. Марк Клавдий Марцелл обдал меня напоследок облаком едкого презрения и скрылся за поворотом.

В следующее мгновение я обнаружил себя несущимся в ту сторону, где, удаляясь, звенели и звенели колокольчики вероникиного смеха, еще слышные за ревом мотора.

Сразу за поворотом начинался спуск. У подножия, растопыренными руками загораживая мне путь, стоял этот модный беложигулевый тип.

Мне некогда было разбираться, Марк Клавдий Марцелл это или кто другой. Мне преграждали путь, и этого было достаточно. И смех Вероники был уже едва различим.

Лишь секунду помедлив, я плотнее нахлобучил гривастый шлем, пересбросил тяжелос копье с руки на руку и ринулся вниз, все быстрее и быстрее, разгоняясь на крутом склоне холма, и скоро ноги уже не успевали за стремительным движением вперед закованного в сверкающую медь туловища, и вот тогда...

## 10

...родился вопль. Шестьдесят глоток одновременно извергали из глубин существа оглушительное «И-а-э-э!». Живой таран-черепеха, шестьдесят человек, по шесть в ряд, сверху и с боков прикрывшись щитами, в середине сосновое бревно, летела к воротам. И уже не было мыслей, не было боли, было одно стремление, одна страсть: бежать, орать, добежать, протаранить ворота, а уж там...

До судорог в скулах желанное т а м!

Вперед и быстрее, сквозь ливень стрел. Кто упал, тот погиб. Желанием ты уже там, за стенами, так добеги до себя! Нет силы, способной остановить лавину железа и страсти.

С оглушительным «И-а-э-х!», и еще, но уже слабее, с каждым разом слабее. А сверху, со стен — возмездие: камни, горящие ключья, кипящее масло, помои.

Черепеха распалась, кричали раненые, живые искали пути к спасению. Прижавшись к стене, можно было уберечься от

камнепада, но масло, кипящее оливковое масло доставало и здесь. Те, у кого не хватило выдержки или сообразительности, выбегали на открытое пространство, устремляясь к лагерю, и падали, пораженные в спину меткими защитниками стен.

Я остался один. Я бился с воротами, честная схватка — один на один.

Я ломился в ворота и чувствовал — подаются! Я был уже там, мщение обидчику и жажда забрать свое, но забрезжила вдруг предательская мыслишка — а дальше что, приятель? — и обрушилась тотчас боль обожженной маслом кожи, заныли ушибы, и ворота отбросили меня прочь.

Я вжался в крохотное углубление в стене. Не я вжался, тело, так не вовремя вспомнившее о себе, искало эту спасительную щербину в каменном монолите и нашло, и вжалось, растеклось, слилось со стеной, и только потом все это отметил рассудок.

Я скорчился в три погибели и прикрылся щитом. Сверху что-то ударило, придавило.

Только бы не масло. Только бы не заметили.

Меня не заметили.

Немного погодя я осторожно выглянул из-за щита. От четырех лохосов гоплитов, составивших мою черепаху, в живых осталось всего ничего. Большая часть храбрецов полегла перед воротами, несколько счастливицков, бросив оружие, чесали во все лопатки по направлению к неподвижно заставшим в боевом порядке фалангам.

Вслед им неслись хохот и проклятия.

Крепостная стена.

Я ожидал, что с минуты на минуту распахнутся Скейские ворота, пенным гребнем на волне выплеснется на равнину свирепая геренская конница, а следом и сама волна накатится — беспощадные эфиопы Мемнона, кавконы, куреты и страшные в рукопашном бою дарданцы...

Но время шло, утих шум на стенах, дрогнули фаланги в долине Скамандра, смеялся сверкающий строй, и солнце еще играло на шлемах уходящих за холмы к лагерю воинов.

Звезды высоко — не достать. Ворота крепки — не сломать. Чем дальше я ухожу от них, тем они крепче. Кто-то смотрит со



стены мне в спину. Удивительно знакомый кто-то. И чувствую затылком этот взгляд я оплеванный, ошпаренный, ушибленный, пружиню шаг и расправляю плечи.

Бегство? Какое бегство, просто я тут, ну, скажем, прогуливаюсь.

И все равно паршиво,

— Ты трус, приятель, — говорю я себе.

— Вовсе нет, — возражаю я. — Почему обязательно трус? Нужно иногда останавливаться и думать. Должен же быть предел безумствам.

— Ступил на дорогу, иди до конца.

— А стоит ли идти до конца, если на полпути усомнился в цели?

— Прекрати. Словоблудом ты всегда был изрядным. Меня на эту удочку не поймашь, перед кем другим распинайся. Нужно дойти до конца хотя бы затем, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнения.

— Не знаю, не знаю. Каждую вещь нужно покупать за ее цену.

— Трудно мне с тобой будет, приятель.

— Не нравится — не ешь.

Стены отдалялись, и я едва сдерживался, чтобы не побежать к виднеющейся на побережье цепочке костров.

Стены отдалялись, и я едва сдерживался, чтобы не повернуть обратно и не грохнуть в последний раз кулаком в ворота — вдруг откроются?

Стены отдалялись, и я едва сдерживался от узнавания того, кто смотрел мне в спину.

Я вспомнил, как зимой мы зайцами ехали с Вероникой в автобусе и целовались на задней площадке. В кратких перерывах — на один вдох — она спрашивала: «а вдруг контролер?», а я касался ее ресниц своими и уверенно отвечал: «отобьемся!» И не брать билет стало делом чести. Только контролер в самом деле появился.

— И ты заплатил штраф.

— Не драться же мне с той свирепой бабищей! Всякая категоричность — признак ограниченности. Понял?

— Твой идеал — манная каша до горизонта?

— Заткнись.

Я заткнулся и пошел дальше. Тяжелое копые бесполезно

оттягивало руку, я зашвырнул его в темноту. Следом отправился пятислойный щит, и едва не снес голову возникшему из темноты кентавру Василию. Василий не обиделся. Был он тих, задумчив и пах дезодорантом. Он молча пожал мне руку и пошел рядом, изредка передергивая плечами и хлеща хвостом по крупу.

— Только пыль из-под копыт, — бормотал он. — Только пыль из-под копыт... Не понимаю, решительно не понимаю. Я хотел сделать ее крылатой. Я уговаривал ее и уговорил, она согласилась. Я — кентавр, она обыкновенная. Кентавр и крылатая кобылица — это уже что-то... Ты меня понимаешь? Я купил самые лучшие крылья, какие только можно найти. Достал у спекулянтов супер-клей «Момент» фирмы Хейнкель... В последний момент она взбрыкнула своим божественным крупом и усккала. Только пыль из-под копыт бескрылой лошаденки...

Я ожидал чего угодно, но чтобы Василий, хронический холостяк и выпивоха, любитель едко комментировать ритмическую гимнастику и синхронное плавание...

— Что вы все Василий да Василий! — обиделся кентавр. — Особенный я, что ли? Не такой, как все? У Василия тоже есть сердце... Ах, эти бабки, высокие стройные бабки, этот дерзкий изгиб шеи, шелковистый, теплый круп, горящие глаза, эта пеноподобная грива и хвост...

Он глухо то ли замычал, то ли зарычал и ударил себя кулаком по лбу:

— Но ведь бескрыла! Бескрыла!

— А вдруг еще отрастут? — неуверенно предположил я. Василий возмущенно фыркнул, топнул, брызнули из-под копыт искры.

— Отрастут! Как же, иди! Скорее я начну жрать сено! — Он вдруг резко остановился, схватил меня за локти, подтащил к себе и с мольбой проговорил: — Ты скажи, скажи мне, почему мы всегда любим не таких, как мы сами? Почему мы всегда видим их не такими, какими их видят другие? Ты скажи мне...

Что я мог ему сказать? Я и сам не знал. Василий понял.

— Да что там говорить. Не о чем говорить, — сам себя оборвал он, уныло шаркая ногами и вяло помахивая хвостом, в котором как всегда застряли репы.

— Бескрыла! Решительно бескрыла. Насовсем! — донесся из темноты его безнадежный голос.

— Два циклопа по лесу идут, один нормальный, а другой Полифем...

— И в Киле, и в Ларисе было полегче.

— Возьмем город — повеселимся.

— А первый-то циклоп и говорит: все, говорит, пришли. А второй: здравствуй, бабушка!

— На печени гадал и на бараньей лопатке, кости раскидывал, воду лил и по всему выходит — возьмем! Быть того не может, чтобы не взяла. Экая силища собралась! Девять птиц пожрал дракон и превратился в бездыханный камень. Возьмем!

— Скорее бы.

В три ряда, корма к корме, от Сигерейского мыса до Ретейского стояли на песке укрепленные подпорками крутобокие черные корабли. Бесчисленные костры раздирали пламенем тьму, отодвигали границу ночи, и по одну сторону этой границы ссорились, ели, играли в кости, точили оружие и готовились к схватке пришедшие со мной, поклявшиеся отомстить за мою обиду аргивяне, локры, чубатые абанты, фесалийцы, копьеносные критяне, а по другую... Я не решался переступить границу света и тьмы и сказать им... Что я мог им сказать? Что передумал? Что не будем брать мы город, не за что мстить? Прав, тысячу раз прав Феогнид: то, что случилось уже, нельзя неслучившимся сделать... Ошибся, ребята, скажу я им, в горячке был, не додумал. А город, что ж город, город ни при чем. Та, которая за его стенами, будет еще неприступней и дальше, сровняй мы стены с землей. Не те стены рушим. Такие дела.

Это им сказать?

Я шел в темноте вдоль кромки света. Шел не зная куда и зачем. Я знал, уже знал, что не нужно, и не знал, как нужно.

Я услышал знакомые голоса у одного из костров и остановился.

— Даже обладающий знанием поступает согласно своей природе, ибо поведение каждого человека зависит от влияния трех гун.

— Быдло. Все и все — быдло. Дай прикурить.

— И гуны эти, движущие человеком, — добродетель, страсть и невежество...

— Все так, но пропорции! Пропорции! Каждая личность неповторима, потому как пропорции разные!

— Нет личностей, есть типажи. Старик Теофраст...

— И путь разума выше кармической деятельности. Нужно искать и искать, но не сиюминутное, а бесконечное и вечное. Важен не результат, а процесс.

— Нет, ты послушай, что я скажу, послушай. Сидят два йога на вершине Памира, и один говорит...

— Драть надо! Как сидорову козу. Кнутом и по субботам. От земли, от исконных корней нас пытаются увести, в этом все дело, это причина всех бед. Но мы не позволим! Единым фронтом, плечом к плечу, как былинные богатыри! А бабы, что бабы, они силушку любят. Раньше как было? Выдали девку замуж, и не могли рыпнуться, потому - порядок. Это все их штучки, абстрактное искусство, свободная любовь... Разврат! Раскол!

— ... а второй и отвечает: Новый Год, — это хорошо, но женщина — лучше. Проходит еще месяц...

— Не будем корней своих знать, ничего не будет, растворимся, исчезнем, погибнем. Только этого они и ждут, потому как близок срок...

— ... и первый отвечает: женщина — это хорошо, но Новый Год чаще.

— Быдло.

Кто-то расхохотался хрипло, закашлялся. Звякнуло оружие. Блеснули в свете костра фиолетовые ногти, паучьи пальцы коснулись струн кифары, вылетел из прокуренной глотки ломающийся куплет:

Обогрев на кострах эмоций,  
Мы по жизни шагаем упрямо —  
Симпатичнейшие уроды —  
С перекошенными мозгами...

— Заткнись! — лязгнуло металлически, и дробью посыпались фразы:

— Всем проверить оружие и обмундирование. Выставить дозорных. Потом спать. Хватит пустой болтовни. Слишком много болтасте. Хватит. Говорящий сомневается. Сомневающийся предаст. Обсуждать нечего. Мне цель ясна, этого достаточно.

Лязганье перебилось другим голосом, бархатистым, обволакивающе-проникновенным:

— Цель ясна, но средства, друг мой, средства? Мы все целиком на твоей стороне, до определенного, разумеется, предела. Но средства? Она там, за стенами, а стены неприступна.

— Ворота крепки, а запоры надежны. Ты сам имел возможность в этом убедиться. Мы все пошли за тобой, верные клятве, но, вовсе не для того, чтобы расшибить лбы. Так как же со средствами, друг мой?

— Средство есть. Верное средство. Она сама откроет ворота...

Я приблизился к самой границе темноты, не рискуя переступить ее, и увидел, узнал всех, сидящих у костра.

Давид лениво перебирал паучьими пальцами струны кифары, Вовка-йог перебирал четки, Марк Клавдий Марцелл — походную коллекцию сердец. Фиолетовые ногти нервно потрошили длинную ароматическую сигарету, из точеных ноздрей выплывали аккуратные сизые колечки. Косоворотки, положив топоры на колени и ослабив витые пояски, сидели рядом с потертостями на покатосях и расписными деревянными ложками черпали черное и зернистое из пузырчатого бочонка, а в Голубых Глазах не отражалось пламя костра. Чуть поодаль два поклонника высокогорной мудрости наставляли на путь истинный травести на пенсии. Травести болтала в воздухе ногами и мерзко хихикала.

А над ними, у самого огня, широко расставив защищенные поножами до колен ноги, в блестящем панцире с устрашающей эгидой на груди, в развевающемся без ветра плаще, с зажатым в опущенной книзу правой руке обнаженным мечом, с пятислойным щитом, в высоком гривастом шлеме, стоял и вылезгивал слова я.

— Она сама откроет ворота, и я знаю, как ее заставить. Я стоял в темноте и слушал, как я у костра излагаю план захвата.

А потом я отступил и пошел прочь, а я остался у костра.

Но это был не Я. Это был Я-штрих.

Я уходил все дальше и дальше от огня. Туда, где у подножия многовершинного хребта стоял город, уже обреченный на гибель.

Или же уходил не Я.

Птиц приманивают свистом, рыб — хлебным мякишем, девушек — цветами.

Дарите подснежники и ландыши весной, тюльпаны, розы и гладиолусы летом, хризантемы осенью, гвоздики зимой.

Не дарите часто, дарите иногда.

Не дарите по поводу, дарите просто так.

Не дарите помногу, веточка сирени окажет достойную конкуренцию охапке мимоз.

Я не понимал этих маленьких хитростей, я не любил охоту и рыбалку, я не дарил Веронике цветов.

Вероника любила тюльпаны.

Неразкрывшийся бутон, оставленный на песке там, где еще вчера стояли корабли, был огромен. Весь город, впрягшись в постромки, на колесной платформе тащил его к воротам.

Ворота оказались малы, их сняли. Часть стены пришлось разобрать.

Город спал.

Впервые небо над холмами не багровело отсветом костров. Впервые дозорные на стенах не всматривались до рези в глазах в темноту. Пустынным было оскверненное язвами кострищ побережье, лишь ночной эвр гнал по нему из конца в конец смерчи пепла.

Город спал.

Никто не видел, как вернулись черные крутобокие корабли, не слышал звона мечей и обрывающихся хрипом проклятий у городских ворот.

Бутон тюльпана на площади перед храмом раскрылся, и Я-штрих с тыла напал на сонных стражей.

Взревели боевые трубы, это были трубы победителей. Двумя нескончаемыми потоками входили они в уже пылающий город. Конные и пшие, смелые и трусливые, алчущие добычи, они легко находили ее, почти нигде не встречая отпора, и скоро каждый был вознагражден за долгое ожидание.

— Город пал! — возносился к задымленному небу ликующий голос Я-штриха.

Город пал! — и теперь Я-штрих мог досыта упиться местью.  
Город пал!

Сотня воинов осаждали дворец на вершине крепостного холма — последний оплот. И впереди всех сражался Я-штрих.

Неудержимым натиском сорваны были с петель двойные ворота, сломаны запоры. Я-штрих во главе отборного отряда ворвался во внутренний дворик. Плащ его развевался, меч бурел от крови. Прикрываясь щитами, мы отступили и заперлись в доме. Внутренние покои горели, из окон клубами валил дым. Двери стонали под ударами топора Я-штриха.

Я не видел Веронику, но знал, что она где-то здесь. И когда последняя дверь превратилась в щепы, бросился навстречу Я-штриху.

— С дороги, слабак! — лязгнул он и отшвырнул меня в сторону.

Миллион раз я поднимался, утирал кровь, бросался на него и миллион раз оказывался распростертым на каменных плитах. Он не спешил убить меня, он длил удовольствие, наслаждался моей неспособностью оказать ему сопротивление. Или же он щадил меня? Не знаю. Но продолжалось это только до тех пор, пока бархатистый обволакивающий голос не произнес:

— Что с вами, друг мой? Вас не узнать. Будьте же мужчиной до конца!

И тогда он убил меня. Топором или мечом, не все ли равно? Он перешагнул через меня и пружинистым шагом, расправив плечи, отправился туда, где слышался голос Вероники. А следом за ним через меня перешагнули потертости на покатостях, лапти и топорики за витыми поясками, внимательные глаза и проникновенный голос, сжимающие кифару паучьи пальцы... Откуда-то издали послышалось неспешное цоканье копыт, кентавр Василий перевернул меня на спину и закрыл мои незрячие глаза. Он пробормотал сокрушенно, что не хорошо это — оставлять меня здесь, нуда теперь уж все равно, махнул рукой, тоже перешагнул через меня, мазнув напоследок по лицу хвостом и застрявшими в нем репьями и процокал в сторону конюшен, бормоча вполголоса: — Надо же, неприятность какая случилась — убили! Впрочем, сам виноват... Но где же она? Она должна быть где-то здесь... Но бескрыла!

Я остался лежать на затоптанных мраморных плитах, а я бродил по улицам пылающего города. Грохот стоял до небес:

победители рушили стены, поклявшись сровнять их с землей, но не видели того, что видел я: на месте разрушенных вырастают новые стены, выше и прочнее прежних.

Я-штрих тоже видел этого, победитель из победителей, он шел с гордо поднятой головой, плечи окутывала леопардовая шкура. Одной рукой он сжимал меч, а другой волочил за собой стройную, хрупкую, как стебель тюльпана, женщину в блестящем покрывале. Она едва поспевала за ним, спотыкаясь на зыбкой от крови земле.

И тогда я поднял копье. Но я перехватил занесенную для удара руку.

— Зачем? — спросил я. — Он и так себя наказал. Это не та Вероника, которая ему нужна.

Рука с копьем опустилась, я повернулся и побежал прочь, а я остался и смотрел в спину уходящим. Они пересекли скверик около Дома Ученых и вышли к Морскому проспекту напротив кафе «Улыбка». Светофор при их приближении поспешно зажег зеленый, а пустое такси с визгом затормозило перед властно поднятой рукой.

## 15

Ах, как тепло и покойно становится на душе, когда возвращаешься туда, где тебя ждут!

Толкнуть дверь, грузно протопать, бросить на пол тяжелый рюкзак, прислонить в угол ружье, опуститься с протяжным у-у-ф-ф на табуретку, стащить болотные сапоги, упираясь носком одного в пятку другого. А потом замереть на несколько минут, и голова будет откинута к стене, натруженные руки будут лежать на коленях, густой усталостью будут гудеть ноги.

А на заботливое намаялся? ответить медленно, прикуривая и щурясь:

— Нет... ничего... нормально. Там... в рюкзаке возьми.

## 16

И какая разница, что в рюкзаке, — подстреленная на болотах дичь или мытая картошка из овощного, и нет ружья в углу, а есть несколько газет на журнальном столике, и не болотные сапоги вовсе, а чистые, без пылинки, югославские башмаки.

Не в этом дело.



Анюта была деловой женщиной, умела жить и любила жемчуг. Ее отдельное с удобствами, балконом и лоджией трехкомнатное кооперативное подводное царство располагалось на восьмом этаже типовой коробки цвета чешуи тухлого леща.

Анюта была громкой женщиной, но любила тишину и в соседи организовала себе кандитата по мертвым языкам, отставного майора из тишайшей конторы и чету ответработников времен культа.

Мне она выдала персональные ласты «Нерпа». Они немного жали с непривычки, но скоро я освоился, медленно плавал по комнатам и читал корешки книг, упакованных против размокания в полиэтиленовые пакеты.

— Мужики — кретины, — говорила Анюта. — Не хлюпай так, не хлюпай, ногами работай без суеты, от бедра. Умница. Мужики — кретины. Дегенераты, идиоты, олигофрены и имбецилы. Все бы им пыжиться и чего-то из себя изображать. Любой с готовностью согласится, что он не красавец, но ни один, даже самый никчемный, не признает у себя отсутствия недюжинных деловых способностей. Они живут иллюзиями, а нужно просто жить. А кто знает, как нужно жить, если не дарующая жизнь? Мужика мужиком делает женщина, если только он ей не мешает. Вспомни Лауру и Петрарку, Джульетту и Ромео, Лейлу и Меджнуна, Гинеvру и Ланселота, Ариадну и этого, который у нее по вервочке ходил... Мужики годны лишь для одного дела, но для этого их нужно кормить морепродуктами.

Не переставая говорить, она ловко сновала от плиты к столу, за ней вились шустрые бурунчики и водоворотики.

Крабы, варенные в морской воде, скоблянка из трепанга, чешское пиво Окосим, гребешок тихоокеанский в горчичном соусе, морская капуста, обжаренные на сливочном масле нарезанные кружочками щупальца осьминога, суп черепашовый и суп из акульих плавников, икра на прозрачной льдине — все это выстроилось передо мной как на витрине столичного магазина «Океан» перед правительственной комиссией.

— А теперь питайся, жемчужина моя, — приказала Анюта. — Одно умное дело ты за свою жизнь сделал — пришел ко мне. Остальное — моя забота. Ешь-сшь, ты мне нужен сытый, здоровый и бодрый.

Я благодарно пробулькал и принялся за трапезу. Было уютно и неспешно, вода вокруг была теплой, а еда вкусной. Анюта предугадывала любое мое желание раньше, чем я успевал его осознать. Я чувствовал, как слой за слоем покрываюсь перламутром, но это было даже приятно.

— А теперь кальмарчиков, кальмарчиков. Очень способствуют. И капуста. Вот так. Проголодался, бедненький, набегался. Чего бегать, спрашивается? Ведьму ему захотелось. А того, глупенький ты мой, не понимаешь, что все мы ведьмы. Как одна. И у каждой в роду есть и наяды, и дриады, и вещие жонки, и валькирии, и орады, и керы, и парки, и хариты, и медузы, и...

Я хотел возразить, но не смог. С полным ртом это было бы неубедительно. А потом мог, но уже не хотел. Я покрывался довольно толстым слоем перламутра и хотел спать.

— А вот нет, миленький. Спать я тебе не дам. Жемчуг только тогда хорош, когда в руках хороших.

Она вытерла меня бархоткой и нанизала на ниточку, где уже было с дюжину отборных жемчужин. Она примерила меня перед зеркалом и увидела, что это хорошо. Она скинула джинсовый халатик, надела что-то длинное, бархатное, вечернее, примерила меня, и это тоже было хорошо.

Она примерила меня вовсе без платья, и это было еще лучше. Она хотела примерить меня еще с чем-то, но зазвонил телефон, и она приказала снять трубку.

Я снял.

— Я жду, — раздался тихий монохроматичный голос. — Ты знаешь, она почти разделилась. Ты скоро придешь. Я жду.

— Кто звонил?

— Ошиблись номером, — сказал я и выплыл на балкон.

В мире прошел дождь. Пахло мокрой пылью и грибами. Улица была полита расплавленным стеклом. По стеклу осторожно скользили расплюснутые игрушечные машины, они осторожно ощупывали деревья и стены домов дрожащими пальцами света. Около игрушечного кафе толпились игрушечные люди, оттуда доносилась развеселая музыка, и в такт ей мигал игрушечный фонарь на углу, не зная на что решиться, вспыхнуть или погаснуть окончательно.

— Ты скоро? Ты где?

— Не здесь, — сказал я и снял ласты.

Я осторожно перевалился через перила, и позади меня захолопнулись створки жемчужницы.

Я летел очень долго. И на каждом этаже отмечал свой день рождения.

...Маленький мальчик поймал жука. Он привязал ему к лапке нитку и заставлял летать по кругу. Жук летал. Когда мальчику надоела игра, он засовывал жука в вагончик от детской железной дороги. А потом жук разучился летать. Наверное, ему было скучно жить в железном с нарисованными окошками вагончике. Он шуршал там листьями и конфетными фантиками, скребся и — мальчик слышал это, прикладывая вагончик к уху, — тихонько вздыхал. И тогда мальчик решил построить ему из стеклышек и щепок замечательный дом под кустом смородины. В доме было крылечко, окошки и пластилиновая кровать, но жук все равно не хотел летать. Мальчик рассердился, но еще не понял на кого. Он думал — на жука. Он сломал ногой домик — глубокая борозда в жирной земле, а жука зажал в кулаке. Жук ворочался и кололся. Мальчик размахнулся и подбросил его высоко вверх. Жук взлетел маленьким черным камушком и так же, камушком, стал падать. Мальчик испугался, что жук разобьется, но у самой земли он расправил крылья и, тяжело гудя, кругами, стал подниматься над кустами смородины и крыжовника, над разлапистой шелковицей, потом перелетел через забор и исчез.

Я улыбнулся мальчику и полетел дальше.

... Голенастый, нескладный, весь из вредности и комплексов подросток сует в щель автомата с газводой кусок проволоки вместо монеты и воровато озирается, готовый тяпнуть любую занесенную над ним руку. Вечером он будет подписывать открытку девочке из параллельного класса: «Что пожелать тебе не знаю, ты только начинаешь жить. От всей души тебе желаю с хорошим юношей дружить». Потом будет долго давить прыщи перед зеркалом в ванной, а уже пред сном положит в портфель колоду порнографических карт, чтобы пустить их по классу, когда седа русачка, млея от избытка обожания, будет говорить о чистейших образах тургеневских девушек.

Я ухмыльнулся и полетел дальше.

...Юный щеголь, вчера абитуриент, а сегодня уже студент, одетый в теснейшие джинсы и батник на кнопках, сидит с первой своей девушкой на скамейке позади колхозного клуба и

в руках у него первая в жизни бутылка вина, а в зубах — первая сигарета.

— Вино налито, оно должно быть выпито,— цедит он, изо всех сил сдерживая кашель.

— А штопор ты захватил? — деловито осведомляется девушка.

Он молча поворачивает бутылку горлышком от себя и сильно бьет по горлышку ладонью. Уверенно бьет. Пробка вылетает.

— Ого! — говорит девушка без удивления.

Они пьют вино по очереди из горлышка, а когда кончается вино и слова, он, чтобы заполнить паузу, судорожно привлекает девушку к себе и начинает целовать. Он потеет от желания и страха, непослушными пальцами возится с какими-то крючками и застёжками, а в голове вертится и зудит фраза из Сэлинджера: «...так я битый час возился, пока не стащил с нее этот проклятый лифчик. А когда, наконец, стащил, она мне готова была плюнуть в глаза».

— Помоги же!

Девушка в темноте улыбается и качает головой. Она старше щеголя.

Наконец он справился и впервые увидел ждущее его тело. Но времени прошло много, он успел лишь коснуться его и закричал от злости и стыда и ударил кулаком о землю.

— Бедный мальчик,— сказала девушка.

Все прошло. Он услышал звуки музыки из клуба, где-то в стороне назревала крикливая драка между студентами и аборигенами, и ночной ветерок охлаждал кожу.

Я покраснел и полетел дальше.

...Трое сидят на кроватях в общежитии и ведут содержательную беседу под пиво и вяленую корюшку.

— При рождении каждый оказывается на вершине горы и начинает скатываться или скользить. У кого больше коэффициент трения, тот и остановится ближе к вершине, а мимо него будут скользить другие и падать в пропасть.

— Человечество — это одноатомный газ в баллоне. Частицы сталкиваются друг с другом и со стенками, и каждая частица хочет найти в баллоне дырочку, чтобы вылететь и лететь с постоянной скоростью в бесконечность.

Они подолгу молчат, смакуя только что изреченную мудрость и придумывая следующую, а потом один задумчиво говорит:

— Ба.

— Бу,— говорит другой.

— Бы,— присоединяется третий.

Потом мне еще часто приходилось краснеть и отворачиваться.

А потом я смотрел во все глаза, но летел все быстрее и быстрее. Вэ равно нулю, вэ-нулевое плюс жэтэ. И хоть вэ-нулевое равно нулю, от жэтэ никуда не денешься.

...Ему повезло. Ему отчаянно повезло. Она первая подошла к нему и сказала: «Я люблю тебя».

Он не понял везения, не поверил. А потом поверил, но чем больше она доказывала, тем больше ему хотелось, чтобы она доказывала.

В конце концов она устала, небо затянулось низкими серыми тучами, и пошел мелкий дождь.

Воздух свистел в ушах, и глаза слезились. Передо мной мелькнула стиральная машина «Эврика-полуавтомат», кухонный гарнитур, скандал из-за потерянного кошелька, талоны на колбасу и масло с ползающим по ним тараканом, радуга над осенним полем, пыльная дорога меж холмов, черные крутобокие корабли, крепостные стены...

Пролетел какой-то незнакомый старик, собачьими глазами глядящий из окна и констатирующий прохождение жизни, и я упал...

...на аккуратное дымчатое колечко. Я лежал на нем и покачивался как на автомобильной камере посреди озера. Фиолетовый ноготь уцепился в край колечка и подтащил меня к себе.

— Ага-а-а,— сказали пухлые губки.— Ага-а-а.

Великолепно небрежным жестом она отослала великолепно попсовых мальчиков.

— Я уже приглашена.

— Кхм,— сказали попсовые мальчики, отослались и быстро разобрали девчонок в ажурных колготках и юбчонках по самое ой-боже-ж-ты-мой!

— Быдло,— процедили им вслед пухлые губки и коснулись моего уха.— Достаточно попробовать на вкус одного, чтобы понять, что все остальные тоже потухли.

Одна рука легла мне на затылок, друга на плечо. Скосив глаза, я видел фиолетовые кинжалы в опасной близости от своего горла.

— За одного битого двух небитых дают, но я предпочитаю не разменивать. Ты тоже? А сердчишко-то колотиться! А если еще ближе?

Я был окружен ею с трех сторон и думал, что ближе уже некуда, но ошибался. Сердчишко в самом деле колотилось, но вовсе не из-за этого. Хотя из-за этого тоже.

Я не танцевал десять тысяч лет. Когда мы шли танцевать, мы надевали джинсы в обтяжку, швы на этих джинсах были тщательно потерты хлебной коркой. Наши рубашки были донельзя приталены, а подтяжная сбруя образовывала на спине узор посложнее лестницы святого Иакова или фигуры оймеджей.

Мы танцевали под «Кинг Кримсон» и «Тэн-си-си». Мы мдели в темноте под лед-зеппелинскую «Лестницу в небо» и арию Марии Магдалины из «Христа». Мы скакали под «перплов», слейдов и пинков. Иногда мы снисходительно разминались под АВВА и никогда под демократов.

С тех пор мальчики изрядно поглупели, а девочки помолодели, построили и посимпатичнели. И все танцевали под Давида из Аукциона. И пел Давид по-русски:

Рыбка плавает в томате,  
Рыбке в банке хорошо.  
Что же я ядрена мать,  
В жизни места не нашел?  
О-о-о-о-о-х-х!

Мы танцевали под музыку тогда, они танцуют под слова сейчас. Впрочем, этим разница и исчерпывалась, механика процесса и его физиологическая подоплека остались те же.

Попсовый мальчик говорит что-то на ухо колготочной девочке, а рука его будто невзначай соскальзывает с ее плеча на талию и еще ниже. Девочка запрокидывает голову, хохочет, эволюций руки решительно не замечая. Игра, правила которой известны всем.

— А вот этого не на... — проговорил я и осекся, подумав: «Собственно, почему бы и нет?»

За пухлыми губками оказались острые зубки и шустрый язычок. Не скажу, что было неприятно. Смущали лишь фиолетовые кинжалы у горла на затылке. Сердчишко колотилось. Теперь не я танцевал, меня танцевали.

Вокруг одобрительно считали:

— Десять, пятнадцать, двадцать...

— Триста... Пятьсот... Дасшь рекорд!

— Миллион!

Кто-то похлопал меня по плечу.

— Слышь, мужик, остынь. Ажно взопрел весь. Слышь, че скажу! Твоя-то, кажись, тут где-то...

Я дернулся, и кинжалы вонзились в затылок. Я рванулся и взвыл от боли. Я вырвался, посмотрел по сторонам и увидел то, чего не видел раньше.

Вероника. Десять, двадцать, тысячу раз тиражированное лицо. Вероника в вареной юбчонке, Вероника в бананах, Вероника, к кому-то льнущая, Вероника, от кого-то отбивающаяся, Вероника смеющаяся над кем-то и Вероника, над которой смеется кто-то.

Вика. Ника. Вера.

Я схватил за руку ближайшую Веронику, и она с готовностью повернула ко мне улыбающееся лицо, знакомое до затерявшейся в левой брови родинки.

Я шагнул к ней, но пухлые губки сложились в трубочку и втянули воздух. Вихрь подхватил меня и понес туда, откуда я только что вырвался. Фиолетовые ногти зажали сигарету, услужливо загромыхало кресало, глубокая затяжка, задержка дыхания, а потом меня выдохнули через нос вместе с аккуратным сизым колечком.

— Вот теперь лети. Фу-у-у!

Я никуда не полетел. Мне некуда было лететь. Я стоял на месте, а моя голова делала семьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре оборота в секунду. А вокруг стояли вероники.

Но я же знаю, что Вероника одна! Которая из этих?

— А ты в сердце загляни. В нем ищи корень, — посоветовали косоворотки.

Дождь начинается с капли.

Лучше бы они вообще не имели лица.

На улице:

— Девушка, милая девушка, как вас зовут?

— Вероника.

— Вы позволите взглянуть на ваше сердце?

— Отвали.

На скамейке в парке:

— Девушка, вам не скучно?

— Теперь скучно. Проходи, не засти.

Первая дюжина меня отшила, и я понял, что все делаю не так. Слишком спешу, слишком робею, и в глазах ясно читается, что именно мне нужно.

Первая удача стоила мне трех дней осады, двух коробок конфет, бутылки шампанского по ресторанной цене и пачки «Мальборо». Первая удача обернулась поражением. Я держал сердце на ладонях и чуть не выл от досады: не то. Еще три дня я пытался втолковать это Веронике, с ужасом ожидая, что шоколад кончится и опять начнутся слезы.

На третьей дюжине сформировался свод правил:

— не спешить.

— не медлить.

— не молчать.

— делать паузы.

— говорить обо всем, кроме главного.

— ничего не обещать словами.

— обещать все, но не словами.

— не просить.

— брать, но так, словно делаешь одолжение.

Я разработал проникновенно-внимательный взгляд.

Я раздобыл всепонимающее-усталую усмешку.

Я сочинил пять гладких и пять колючих историй, которые проговаривал бархатистым обволакивающим голосом.

Я купил коробку иголок для проигрывателя и два ящика пластинок «Алан Парсонс проджект».

Началась работа. Скоро я очень удивлялся, если в середине последней песни на второй стороне («Старый и мудрый») не видел протянутого мне сердца.



Совсем негодные я возвращал немедленно. Если же замечал хоть одну дорожную мне черточку, оставлял.

Я отчаялся найти море и хотел составить его из капель. Это титанический труд, сродни старательскому: из горы пустой породы вымыть несколько драгоценных пылинок. Попутно выяснилось, что Вероники совершенно лишены инстинкта самосохранения. Чем больше скапливалось у меня сердец, тем больше было желающих. Очередь выстраивалась на три квартала. Пришлось отказаться от музыки и историй. Соседи были очень недовольны шумом на лестничной площадке, но после трех минут общения со мной готовы были согласиться даже на установку парового копра у себя под дверьми. Зато очень довольны были таксисты: вероники не скупилась и оплачивали дорогу в оба конца, частенько забывая сдачу.

Иногда у меня собирались друзья, и я отдыхал, уютно устроившись в глубоком мягком кресле. Мы курили, пили кофе, слушали музыку и говорили обо всем на свете от экзистенциализма до прогрессирующего в некоторых странах амбидекстризма. Приятно пообщаться с людьми, читавшими «Я и Оно», «Гиту» и «Миф о Сизифе».

Но однажды ввалился какой-то тип в расстроенных чувствах, с дрожащими губами и дергающейся щекой, вырвал меня из любимого кресла и заорал, брызгая горькой слюной:

— Где она?

Я был спокоен. Я был само спокойствие, к подобным инцидентам я уже привык и спросил своим глубоким бархатным голосом:

— Кто тебе нужен, друг мой?

— Вероника!

— Вероника или вероника?

— Вероника! Моя Вероника!

Глупец, он думал, что Вероника может ему принадлежать!

— Ее здесь нет.

Ее здесь в самом деле не было, но парня мне стало немного жаль, хоть он и забрызгал мне всю рубашку. Я отдал его на попечение случившимся здесь вероникам, сменил рубашку, подошел к зеркалу, чтобы повязать новый галстук. Я повязал галстук, проникновенно-внимательно посмотрел в зеркало и всепонимающе-устало усмехнулся. А из зеркала проникновенно-внимательно смотрел на меня и всепонимающе-устало усмехался Марк Клавдий Марцелл, я собственной персоной.

Итак, дело сделано.

Я видел занесенное копье, но не обернулся. Знал: не осмелится. Трус, размазня, тряпка. Не осмелится. И оказался прав.

Светофор после зеленого мигнул желтым и опять зажег зеленый.

Таксист не пикнул, выслушав невыгодный адрес, развернулся на перекрестке и погнал по осевой. На чай я ему ничего не дал.

Маленькая ладошка в моей руке была холодной, почти бесплотной. Я едва сдерживался, чтобы не сжать ее до хруста, до крика, до подтверждения: я здесь, я живая, я рядом.

Я привел Веронику домой. Замок с подхалимской готовностью щелкнул за нашими спинами. Вероника вздрогнула и тихонько вздохнула. Или всхлипнула?

— Часы. Стоят, — сказал я, чтобы хоть что-нибудь сказать. — Заведи. Пожалуйста.

Она подошла к часам, подтянула гирьку, толкнула маятник. От громового тиканья мне заложило уши. Маятник раскачивался, но стрелки были недвижны. Без пяти пять.

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?

Я не знал, что ответить часам, не знал, что дальше.

Я шел, чтобы дойти, бежал, чтобы добежать, летел, чтобы долететь, покрылся неуязвимой броней, чтобы победить. Ясно видел цель и сам стал средством ее достижения. Стер в кровь ноги, но дошел, обломал крылья, но долетел. Порвал ленточку, и приз был в руках.

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?

У нас был свой язык, и на вопрос «чапить бум?» было принято отвечать «бум-бум».

— Чапить бум?

— Что?

— Чай пить будем?

— Да.

— Индийский, грузинский, цейлонский, зеленый, английский, на розовых лепестках, китайский, с мятой, душицей, чабрецом?

— Горячий.

Я метнулся на кухню, обхватил чайник ладонями, и он

закипел. Достал из шкафчика наши праздничные чашки, а из холодильника двести сортов варенья, включая абрикосовое. Откупорил сто банок сгущенки и квадратнометровую коробку московских конфет.

Все было готово, и я позвал Веронику. Пока она сто тысяч лет шла из комнаты на кухню, еще раз осмотрелся и остался доволен. Едва ли там ее поили чаем вкуснее.

Вот только тараканы. У нас их никогда не было. Я знал, что это означает, но не хотел верить. От соседей набежали, думал я. Потравим. Я дунул на них, они ретировались за холодильник и опасно зашевелили усиками.

Вероника села на свое любимое место у окна.

— Варенья положить?

— Нет, спасибо.

— Сгущенку?

— Нет, спасибо.

— Конфеты, мед?

Я суетился, был назойлив и противен самому себе. Вероника смотрела в окно и пила чай мелкими глоточками. Без сахара.

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?

За окном достраивался второй этаж универмага, и тощие краны тягали поддоны с раствором. Очень интересно.

Чашка хрупнула под моими пальцами и рассыпалась в пыль. Я вскочил и грохнул кулаком в стену. С потолка посыпалась штукатурка, соседи снизу постучали по батарее.

Проползла вечность, прежде чем Вероника оторвалась от окна и посмотрела на меня.

— Извини, я не расслышала. Ты что-то сказал?

— Нет!

— Ну, извини.

Она опять повернулась к окну, а руки ее в это время собирали и складывали в мойку посуду, протирали стол, намыленным кусочком поролона до безнадёжной чистоты отмывали чашку и блюдца.

Смотреть на это не было сил. Я вернулся в комнату. Без пяти пять.

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?

— Хочешь, посмотрим наши фотографии? Ну те, гагринские, и еще студенческие, и владивостокские, и где ты с яблоком под деревом, когда на шашлыки ходили с Сережкой, и где ты в

черной куртке на трапе теплохода, и в каскетке на пляже, и у своей установки на работе. Хочешь?

— Давай.

Я тащил из прошлого ниточки.

Но они были слишком тонкими, резали в кровь пальцы и рвались одна за одной.

— Кстати, как у тебя на работе?

— Нормально.

— Хочешь, купим машину? Белые «Жигули», девятую модель. Хочешь?

— Зачем?

— Ездить. Будем ездить, тебя запишем на курсы, получишь права. Хочешь? Или куда-нибудь за бугор по турпутевке. У меня знакомые в «Спутнике». Хочешь?

Я говорил и говорил, а стены и потолок медленно сдвигались, давили на плечи, сжимали с боков. Я едва держал потолок, и мне было тяжело.

— Пойдем погуляем! — закричал я.

— Куда?

— Куда-нибудь!

— Зачем?

— Просто так!

Я выскочил в дверь вслед за Вероникой, и потолок рухнул.

## 22

Что приятнее, знать, что ты лучше, или что все остальные хуже?

Как-то раз я видел по телевизору олимпийского победителя в марафоне.

Он только что финишировал и на верхней ступеньке пьедестала все еще тяжело дышал.

На него было жалко смотреть, столько недоумения, обиды и растерянности было в его глазах, когда он разглядывал маленький желтый жужжочек.

В конце концов он снял медаль и зажал в кулаке. Наивная уловка: так ему казалось, что ее нет.

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?

Пусть исполняются заветные желания лишь у наших злейших врагов.

Пусть в наказание будут услышаны молитвы лишь неисправимых грешников.

Пусть мы будем мучиться и искать, и пусть нам не доведется найти утерянное.

23

Зря я повел ее гулять.

Мы прошли мимо автозаправочной станции, и сто двадцать пять шоферов попали в больницу с вывихом шейных позвонков, а сто тонн девяносто шестого бензина вылилось из пистолетов на землю.

Мы шли мимо пожарной части, и пожарные машины, задрав к небу брандспойты, изображали из себя стадо веселых красных слонов на водопое.

Мы шли вверх по проспекту Науки, и автобусы сворачивали с маршрута, чтобы потаращиться на Веронику стрекозиными глазищами.

Пальцы Вероники лежали у меня на сгибе локтя, на самом краешке, не лежали, а касались. Я хотел поправить ее руку, но боялся, что она уберет ее совсем.

Я боялся глазющих на нас автобусов, ликующих пожарных машин и двух взводов курсантов, по разделениям сопящих на счет — «раз-два-три».

Так мы и гуляли: автобусы, пожарные машины, сбежавшие из больницы шоферы с забинтованными шеями, два взвода курсантов и не поддающихся счету рой студентов, профессоров и попсовых мальчиков.

Всем им нужна была Вероника. Моя Вероника.

У кинотеатра «Академия» косоворотки втолковывали толпе непохмелившихся алкоголиков корневые истины и разъясняли кто кого спаивает и кому это нужно и зачем. Толпа колыхнулась и потекла к Веронике. Запахло сивухой и завтрашним дефицитом. Косоворотки взвыли и выхватили топорики из-за витых поясков, но сдвинуться с места не смогли, наконец-то обрета корни, пробив ими асфальт и прочно запутавшись в подземных коммуникационных сетях.

Я схватил Веронику за руку.

— Бежим к Сережке!

Я бежал так, как никогда еще ни от кого не бегал. Бетонные львы, похожие на Иннокентия Смоктуновского, разевали бетонные пасти от удивления и что-то кричали вслед. Слова можно было разобрать только остановившись.

Сережина комната была доверху набита рулонами каких-то переплетных материалов, запчастями к КамАЗу и коробками с картотекой. Холодильник был отключен. Самого Сережи дома не оказалось, но мы все равно его увидели. Покрытый толстым слоем перламутра, он был приколот к вечернему платью Анюты. Она шла по Морскому проспекту, держала подмышкой что-то увесистое, обернутое в несколько слоев фотобумаги, а впереди двое небритых в фуфайках катили бочонок черной икры. Они бросили бочонок и присоединились к нашей процессии, а Анюта пошла дальше, толкая бочонок туфелькой из акульей кожи и водянисто ругаясь.

Больше идти было не к кому, и я свернул в лес.

Позади горестно взвыли, уткнувшись глазами в деревья, автобусы и пожарные машины. Потом отстали страдающие одышкой профессора и алкоголики. Дольше всех держались курсанты, но без азимута, компаса и карты потерялись в зарослях и они.

Мы остались одни.

Лес был тих и ароматно прозрачен. Прошлогодня хвоя шуршала под ногами. Вероника высвободила свою руку из моей и пошла вперед. Тропинка извивалась от удовольствия при каждом ее шаге, ели отклоняли лапы, освобождая проход, чтобы за ее спиной с размаху хлестнуть меня по лицу.

Мы шли долго. Но вот между деревьями показался просвет и слышалось конское ржание.

Вдрызг испытывавшийся, исцарапанный и усталый, я вышел вслед за Вероникой на поросший сочной травой пологий берег реки. Тонкий туман стелился над водой, и по колено в тумане стояла тощая лошаденка и пила, прядая ушами и кося на нас слезливым лиловым глазом. А со стороны не замеченной мной раньше полуразвалившейся конюшни, спешил к нам, размахивая руками и тряся бородой, кентавр Василий.

Он подскакал к нам, весь сияя от счастья. Выдрал репы из бороды и галантно поцеловал Веронике руку.

— Я нашел ее! — сообщил Василий. — Нашел!

Я кивнул в сторону лошаденки:

— Вот эту?  
— Да!  
— Но ведь бескрыла.  
— Бескрыла! — радостно подтвердил кентавр.  
Почему-то он меня раздражал. Я ехидно осведомился:  
— А как же пыль?  
— Даже пыль из-под копыт может быть драгоценна, если лошаденка любима, — менторским тоном отвечивал Василий. — А крылья... Слушай, да пропади они пропадом!  
Он оглянулся на лошаденку, пробормотал: «Не уходите, я сейчас» — и поскакал к ней. Он зашел в воду, и пока лошаденка пила, заботливо отгонял от нее слепней, смешно размахивая руками и тряся бородой.

24

— Что-даль-ше? Что-даль-ше? Что-даль-ше?  
Почему раньше этого не было? Или я просто не замечал?  
С Вероникой невозможно было показаться на улице, ее осаждали толпы поклонников. Ее нельзя было оставить дома, они норовили залезть через балкон или выломать дверь. Каждый день, возвращаясь домой, я ожидал, что ее там не окажется. Я издергался и устал, хотел уверенности и безопасности.  
Я понял, что делать дальше.  
Я прочел десять тысяч книг по архитектуре. Корбюзье и Нимейер мне не подходили, слишком легковесно и ненадежно. Готика была хороша, но слишком трудосмка. Мне нужна была надежность, прочность и простота.  
Я подкупил строителей, подъемные краны доставляли мне бетонные блоки прямо на балкон.  
Днем я выкладывал стены и башни, копал ров, а ночью ходил вокруг дозором, подливая масла в светильники и распугивая тени по углам пламенем факелов.  
Я выложил стены в сто локтей толщиной и пятьсот локтей высотой. Они были неприступны. Двойные Скейские ворота обшил листовой медью и снабдил прочными запорами. Вырубил всю растительность в долине Скамандра, и до самого моря открывался прескрасный обзор. Никто не мог подкрасться незамеченным.  
Я закончил работу и впервые уснул спокойно.

Я спал чутко, и едва слышные всхлипывания разбудили меня. Вероника сидела на постели и плакала, вздрагивали прикрытые легкой тканью худенькие плечи. Она изо всех сил сдерживала слезы и изо всех сил дула в сложенные лодочкой ладошки. И тогда ее лицо освещалось исходящим из ладошек трепетным светом.

Почувствовав мое движение, она схлопнула ладошки и прижала к груди.

— Покажи, — приказал я.

Она не посмела послушаться и протянула мне на ладони крохотный едва мерцающий уголек.

— Что это?

— Звезда, — прошептала она.

Я скрипнул зубами: кто-то все-таки умудрился прокрасться!

— Откуда?

— Из зенита.

— Кто?

Она не ответила, по щекам заструились слезы. Я схватил звезду, и она сразу же погасла. Первым желанием было зашвырнуть эту безделицу куда подальше, но у меня оставалось еще немного цемента, и я замуровал звезду в стену.

А утром, обходя крепость дозором, я увидел на горизонте множество черных точек. Они быстро приближались. Тысяча двести черных крутобоких кораблей, вспарывая длинными веслами воду, неслись к моему берегу.

Что и следовало ожидать. Было бы странно, если бы они не явились.

Во мне было пятьсот локтей вышины и сто локтей толщины. Портландский цемент делал меня монолитным. Дрожь предвкушения пробежала по моим стенам, в которых не было изъяна. Подобрались и напряжили мышцы, готовые к осаде башни.

Я усмехнулся и стал ждать.

Самое вкусное в капусте — кочерыжка.

Верхние листья обычно вялые, тонкие, почерневшие по краю, отделяются легко. За ними еще слой листьев и еще. Они пожестче и потолще, ломаются с сочным хрустом, скрипят.



Растет на столе грудя листьев. Из них можно приготовить множество вкусных вкусоностей. Можно сделать голубцы, а можно пошинковать и потушить или пересыпать солью, придавить гнетом без жалости, а зимой... Да мало ли чего можно сделать!

Но кочерыжка!

Я обдирал себя как капустный кочан. Росла и росла на столе грудя листьев. И каждый лист — я. Я-у-костра, я-в-темноте, я-на-каменных-плитах, я-бегущий-по-дороге и я-преграждающий-путь...

Был я, который написал: «У меня жена ведьма», и был я, который спросил: «А почему, собственно, ведьма?» А другой спросил: «Слушай, а какая она — Вероника?» и тогда все начали говорить наперебой, и каждый говорил о другой Веронике.

Я обдирал себя как капустный кочан и боялся: вдруг этот лист последний, а кочерыжки нет?

Я обдирал себя как капустный кочан и сомневался: вдруг Вероники, мой Вероники, вообще нет? Вдруг я ее выдумал?

Я обдирал себя как капустный кочан и ждал: сейчас, вот сейчас подойдет Вероника и скажет: «Хватит».

Но листья не кончаются, Вероника не подходит, а часы остановились без пяти пять. Чтобы как-то узнать время, я каждую минуту вручную передвигаю стрелки.

А если еще один листик содрать, а?

## КОГДА ВЕРНЕШЬСЯ ДОМОЙ

Я езжу туда каждое лето. В отпуск.

Сначала восемь часов до Озерных Ключей, потом час на такси до тридцать шестого причала и еще час морем на «Комете».

Там безлюдные песчаные пляжи, не изуродованные буфетами и раздевалками, а после шторма вдоль кромки прибоя вырастает шевелящийся барьер буро-коричневых водорослей. Вначале живые и влажно скрипучие, они терпко пахнут солью и йодом, упруго поддаются под ногами, но потом под натиском солнца теряют глянцевоый блеск, умирают, и море забирает их обратно. Однажды на берег выбросило дельфиненка — бесформенная серая тушка, — около него копошились два краба, оба уместились бы у меня на ладони. Когда я подошел ближе, они подняли вверх растопыренные клешни, но потом осознали смехотворность угрозы и боком ретировались в воду.

Там на рыхлой подушке тумана лежат над морем Корабельные острова, густо поросшие низкими, разлапистыми и кривыми от ветра деревьями. В тенистых сырых распадах там растет черемша и удивительно красивые грибы «оленьи рожки».

Там ждешь чуда. Оно было где-то совсем рядом, я чувствовал это. Нужно только вспомнить, найти утерянное, ведь почти дотянулся, держал в руках, почти знал и радовался — вот оно... Но молчат сопки, лишь с размеренностью метронома, уверенно и мощно накатывают на песок волны, да с тихим хрустом ломается под ногой папоротник.

Чуть приоткрывшаяся дверь в мир счастья.

Там все осталось, как было.

Потому и надеюсь.

Я там вырос.

Бывает так: стоит подумать о человеке — и он тут как тут, зримое подтверждение опережающей памяти.

Или так: думаешь, что забыл, старательно пытаешься забыть, вычеркнуть, потому что так проще, но мелькнет в толпе выгоревший чуб козырьком, чуть заметная полоска шрама на левой щеке, и сожмется вдруг сердце мгновенным узнаванием, и отвернешься раньше, чем успеешь сообразить, кто это.

Пока он медленно — господи, как медленно! — проходил по салону, я усердно изучал раскачивающуюся за иллюминатором причальную стенку.

Вверх — ржавые скобы, растрескавшаяся автомобильная покрышка на цепях; вниз — радужная пленка на поверхности воды, мусор.

Вверх — щербатый слизистый бетон; вниз — мятая сигаретная пачка, горлышко бутылки поплавром.

Вверх... вниз... Очень познавательно.

Вверх... Когда же он пройдет?!

Он сел позади меня. Напряженным до звона слухом я улавливал, как он устраивает что-то под сиденьем — рюкзак. Громыханье, звяканье, оглушительно зашелестела бумага.

Оглянуться бы украдкой, чтобы проверить себя, хотя в этом нет нужды: уже знал, что не ошибся, и он будет смотреть на меня в упор, не отводя глаз с пушистыми, как у его матери, ресницами.

На тихом ходу вышла из залива, проплыла справа Тигровая сопка и маяк, дизель взвыл, корма осела, а нос задрался кверху, «Комета» встала на крылья. Она срезала верхушки волн, и брызги, попадая на стекло иллюминатора, горизонтально ползли по нему, оставляя прозрачный след.

Всё-таки не выдержал, обернулся. Он откинул спинку кресла и спал, накрыв лицо газетой.

Облегчение и разочарование, будто прыгнул очертя голову с нелепой высоты — будь что будет! — и проснулся, подвиг откладывается.

Я не был готов к встрече, но подспудно ждал ее, хотел, как хочется сорвать корочку с раны, чтобы убедиться, что она заросла.

Или не рана, просто царапина? Извечная склонность преувеличивать собственные победы и поражения.

Десять, двенадцать лет назад?

Да, точно, двенадцать. Экая пропасть — двенадцать лет. А ведь помню. Не хочу, а помню.

Мы тогда окончили шестой класс, приоткрылась дверь в неизведанный и желанный мир.

Воспоминания детства спугиваются в клубок, который потом распутываешь всю жизнь.

Наша обитая коричневым дерматином дверь. Около замка дерматин прорвался, и из дыры торчит клочок войлока. Если нажать на ручку и чуть потянуть вверх, дверь откроется бесшумно. Ставя ноги с носка на пятку, чтобы предательски не скрипнули половицы, я протиснулся в прихожую.

В лагере римлян тихо. Белсют в темноте ровные ряды палаток, дремлют у походных костров, накрывшись плащами, ветераны, готовые при малейшей опасности схватиться за меч. Но лазутчик осторожен и опытен, не звякнет умело пригнанный доспех, не хрустнет веточка под ногой. Могучим ударом оглушен один часовой, острый дакский меч нашел щель в доспехах другого. Путь свободен.

Голоса!

Я замираю на одной ноге, вжавшись спиной в стену.

—...по мне пусть хоть на шею ее повесит и так ходит,— это голос матери.— Срам какой, на улицу не выйдешь, на работу как на каторгу, каждая норовит в глаз ткнуть. Так бы и задушила своими руками, кошка облезлая, своего проворонила, так теперь на чужих вешаться...— Устав от обиды, мать говорила монотонно и тускло, ей отвечал другой голос, громкий и противный, как гвоздем по стеклу,— сестра матери тетя Люба.

— У тебя всегда так. Я б ее быстро расчихвостила. Не будь дурой, иди куда следует, так, мол, и так, семью разрушает, ведет безнравственный образ жизни. Все права у тебя, ей хвост-то быстро прищемят, а то ишь!..

— Ты ж знаешь, не могу я так.

— Ну и дура! Другая бы на твоём месте...

Вот и все. Не получилось. Я дома. Материн плащ, только что бывший часовым, опять становится просто плащом, и я возвращаю его на вешалку. На цыпочках отхожу к двери, отворяю ее и шумно захлопываю, есть у меня скверная привычка хлопать дверью. Все нормально, я только что пришел и ничего не слышал, мне неинтересно это слышать, я только знаю, что завтра мы с отцом пойдем на рыбалку.

— Нас на каникулы распустили! — громко объявляю я и швыряю портфель в угол, тоже скверная привычка.

— И так распущенные,— отзывается мать. Она отворачивается к окну, но я успеваю заметить, что глаза у нее красные.—

Сколько раз говорить, не хлопай дверью?! Здраваться что, разучился?

Я покорно здороваюсь, но когда тетя Люба пытается погладить меня по голове, уклоняюсь — еще чего!

— Как год закончил? — интересуется тетя Люба. Зубы у нее мелкие и редкие, в школе ябедой была. — Троек много?

— Только по русскому. Мам, я на улицу.

— Переоденься! Не настираешься на вас, — летит мне вдогонку. — Вот тоже, говоришь, говоришь, как об стенку горох... Что из него вырастет?

— Что надо, то и вырастет, — бормочу я под нос. Можно подумать, я целыми днями не переодеваюсь, прям жить не могу без этой формы.

Забыв про меня, они продолжают говорить всякие гадости про отца и Фатьянову, и я нарочно хлопнул дверью так, что аж загудело. Когда придет отец, тетя Люба незаметно испарится, будто ее и не было вовсе, а матери сначала не понравится, что сапоги отца стоят или слишком близко к двери («расставил, не пройти не проехать»), или слишком далеко («опять грязи в комнату натащил, конечно, не тебе ползать на карачках»); не понравится, что отец разбрызгивает воду — попробуй не разбрызгивать, если половину ванной занимает стиральная машина, а вторую половину — выварка с мокрым бельем — и она начнет ругаться, раскручивать себя, вполголоса, бормотанием, потом все громче, распаляясь обидой и жалостью, срываясь на крик, и закончится все плачем, а отец будет молчать и курить, и ему будет стыдно за мать, за ее растрепавшиеся волосы, набухшее злыми слезами лицо, за то, что из-под халата у нее выглядывает комбинация.

Спать отец будет на диване в зале, будет открывать балконную дверь, осторожно, чтобы не разбудить меня, чиркать спичками и долго стоять, облокотившись на перила.

Выплакавшись, мать выходила к отцу.

— Я все понимаю, — шептала она, — ты ж как больной, я боюсь за тебя, Николай.

— Ну, хочешь, давай уедем отсюда, — говорила она. — Хочешь?

— Мне надоела эта нервотрепка! — кричала она. — Я уже от каждого скрипа дергаюсь!

— Да как ты простого понять не можешь: не нужен ты ей, до тебя были и после будут!

— Замолчи! — обрывал ее отец. — Вбила себе в голову черт знает что и талдычишь!

— Уедем... боюсь за тебя... больной, — бормотал он, когда мать уходила. — За себя бойся!

Мать была привычна и раздражающе понятна. Я всегда знал, что она скажет дальше, как знал и то, что завтра мы с отцом пойдем на рыбалку.

Другое дело — Фатьянова...

Фатьянова. Я бредил музыкальностью ее имени — Светлана Фатьянова.

Оно как дыхание: Свет-ла-на Фатья-но-ва.

Добрая и светлая фея из сказки, она очутилась в нашем мире случайно. Проходила мимо по своим волшебным делам, заглянула на минутку и почему-то осталась. Я точно знаю, когда отец увидел ее: когда все из материной парикмахерской собрались праздновать у нас Женский день.

У нас часто собирались гости. Пока отец не у в и д е л ее.

Они танцевали, оба высокие, красивые, отец рассказывает что-то, а она смеется, встряхивает светлой челкой, а у глаз морщинки мягкими лучиками. Не от старости морщинки, а просто потому, что она такая хорошая.

И еще у нее были крохотные жемчужинки в ушах.

Все мужчины смотрели на нее в тот вечер так, словно только что научились видеть — и увидели, и отводили глаза. Отец — нет, не отводил, не скрывал громким смехом смущение, не прятался. Он не такой, как все. Я радовался за отца, что это ему повезло танцевать с Фатьяновой, если бы я был взрослым, я бы тоже так с ней танцевал, касался щекой ее волос и что-нибудь смешное рассказывал, а она бы смеялась, закидывала голову назад, и рассыпалась бы светлая челка.

Я понял отца, а он меня нет. Он не догадался, что я за него.

Я завидовал Сашке Фатьянову. Несправедливость природы: за что ему такая мать?

Она ловила с нами чилимов, намокшее платье липло к ногам, солнечные блики играли на щеках, и она больше чем мы радовалась, если чилимы были крупные. На обратном пути нам встретился отец, и мы все пошли к Фатьяновой. Она сварила чилимов, мы сидели на кухне и ели их из зеленой миски, а отец

и Фатьянова пили пиво прямо из бутылок. Фатьянова не умела пить из горлышка и смешно чмокала.

Я увидел, как отец целовал ее. Глаза у него были закрыты, будто он боялся видеть ее так близко, а рука гладила ее волосы. Я убежал, пока меня не заметили, они стояли так обреченно близко, так судорожно двигались пальцы отца, что мне стало страшно. Они могли умереть от любого лишнего звука, так хрупко и ненадежно было их счастье.

Я боялся расплакаться от пронзительной жалости к отцу, заблудившейся в нашем мире Фатьяновой и себе.

Мать что-то узнала, что-то поняла, увидела — слепой не увидит, — только нужно ей было зачем-то подтверждение отца. Она печалила брови, мучилась его молчаливым неоприятием, и отец сбегал из нашего тоскливого дома на рыбалку.

За ракушками для наживки мы ходили на старый пирс.

Доски на пирсе совсем прогнили и, если посильнее топнуть ногой, отваливались большими кусками. Мы добирались до самого конца, до последних свай, и садились, свесив ноги с края. Отец курил и молчал, а я смотрел как он курит и ждал, когда черный ободок сгоревшей бумаги дойдет до мундштука, отец щелчком выбросит папиросу, и она зашипит, коснувшись воды. Потом отец ляжет на живот, свесившись до пояса над водой, а я сяду ему на сгиб коленей для равновесия. Отец опустит в воду шкрябалку, зазубренный ковшик на длинной палке, плотно прижмет ее к свае и потянет вверх. Чтобы ракушки оторвались от свай, нужно очень плотно прижимать шкрябалку, и от напряжения у отца вздуются мышцы на шее и спине.

— Ну, начнем, — говорил отец.

— Пора, — кивал я, садился ему на ноги и хватался руками за доски. Дерево было влажным и все в крохотных ходах от каких-то жучков.

Тихие курчавые сопки над бухтой, мягкий плеск волн о сваи, предрекающие потерю жалобные крики чаек — кусочек того удивительного и желанного мира, откуда пришла Фатьянова. Мира чудес и доброты и покоя.

— Совсем скоро пирс развалится, — говорил я. — Еще несколько штормов и все. Пап, а пап, а где мы будем брать ракушек, когда пирс развалится?

— Найдем, — отвечал отец, и по его напряженному голосу я понимал, что он тащит шкрябалку вверх, и успокаивался: подумаешь пирс, пускай разваливается, если захотим, мы с отцом всегда найдем ракушек.

Мы набивали ракушками парусиновый мешочек, они были маленькие, черные и блестящие, по форме похожие на мидий, только не мидии — просто ракушки. Мы долго шли вдоль берега, и рука отца совсем не тяжело лежала у меня на плече. Скосив глаза, я видел у него на большом пальце свежую ссадину, наверное, ободрал о сваю.

А потом мы вытаскивали из сарая весла и стаскивали лодку в воду. Я сидел на носу, а отец греб, а потом греб я, и отец говорил, что не нужно давать веслам зарываться, и чтобы лодка не рыскала по курсу, нужно выбрать на берегу какой-нибудь ориентир и все время по нему сверяться. Мы отплывали за дальний мыс, мимо сопки Любви и скалы, издали похожей на пограничника в плащ-палатке, отец опять садился на весла, а я выбирал место. Я свешивался за борт, опускал в воду деревянный ящик со стеклянным дном — телевизор — и смотрел. Отец всегда доверял мне выбирать место. Нужно было найти место без водорослей, и чтобы дно было песчаное, и кое-где камни. Камбала любит такие места. Я смотрел и командовал: «Влево, еще левее, прямо». Вода зеленоватая и прозрачная, подо мной глубина с трехэтажным домом, но все видно отчетливо — волнистый песок, раковины гребешков, колонии бородавчатых трепангов, камни с наростами мидий, и промелькнувшая тень рыбыны кажется огромной.

Я парил в невесомости, ко мне тянулись длинные трепетные пальцы водорослей, чуть покачивались, завораживали, манили в зеленую глубину. Я растворялся в окружающем мире и ради этих часов готов был простить матери ее крикливое бессилие.

Наивная уловка памяти: с готовностью подбрасывать мельчайшие подробности, чтобы запутать в них, увести в сторону, не дать коснуться тех, других подробностей, от которых больно; все еще.

Сашка Фатьянов, подумал вдруг я. Откуда он здесь? Ерунда какая — Сашка Фатьянов! Это не он, конечно же, это не он!

Я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на него. Он спал,



накрыв лицо газетой. Сашка или не Сашка, ему не было дела до моих сомнений.

Сашка Фатьянов. Вот уж кто лишний в этой истории.

Наверное, он удивлялся: почему это я стал с ним дружить.

Наверное, он думал: просто такой уж я ценный парень, что мне набиваются в друзья.

Наверное, он догадывался, но молчал.

Он был похож на свою мать. Те же смешинки в глазах и чуб козырьком. Этого было достаточно.

Мы вместе пробирались в кинозал «Старт» на фильм «Даки», чтобы, затаив дыхание, смотреть, как под рокот барабана мелькает кинжал, вонзаясь между растопыренными пальцами, как с крепостной стены падает на копья юноша в белой тунике. «Дайте мне меч», — говорит бородатый дак; он сжимает широкое лезвие руками, и черная в отвесах костра кровь медленно течет из-под пальцев и шипит, попадая на угли.

Когда нам надоело бегать по улицам с мечами, мы уходили в сопки, бродили там в бумажных шлемах с гребнями из материнного шиньона, жевали пахучие стрелки дикого чеснока и вяжущие рот побеги винограда. Все от мыса Клерка до старого маяка было нашим. Полуразвалившийся мост в устье Адими, плотно утрамбованный волнами песок Манжурки, меченые чайками и бакланами каменистые обрывы Халдоя и далекие, поднятые над морем рыхлыми подушками тумана Корабельные острова.

Нас гнало от людей какое-то смутное ожидание, казалось, еще чуть-чуть и мы прикоснемся к прекрасной тайне, распадется дверь в желанный мир — и мы шагнем через порог. В природе вокруг нас было незаметное, но мощное движение, оно было совсем рядом, и в томительном стремлении понять и слиться с ним мы выплескивали бурлившую в нас жажду красоты и подвига, врубаясь в заросли папоротника. Толстые, набухшие водой листья с печальным хрустом ломались, не принося облегчения, и тогда, стоя посреди вырубленной лощинки, мы застывали и слушали, не раздастся ли далекий стук копыт.

Сопки, море и даже растерзанные папоротники были вне времени, я чувствовал это, и каждое мгновение из тумана могли появиться всадники в сверкающих доспехах. Вот там у скалы уже можно различить их размытые туманом фигуры. Ржут кони, звякает оружие и раздается зычный голос предводителя: «Эй, на стене! Откройте ворота!»

Ворота распахиваются, кавалькада всадников въезжает в замок, грохочут копыта на мосту через ров, приветственно ревут трубы, но уже через мгновение порыв ветра с моря заставляет замок задрожать и растечься зыбкими полосами тумана.

Чудо скоротечно, я снова не успел или не был готов, и дверь захлопнулась перед моим носом.

Уже потом, много лет спустя, мать рассказывала мне, что девочкой она жила в непреходящем удивлении и ожидании. Все происходящее как бы и не задевало ее, нужно было переждать, перетерпеть, не расплескаться, и тогда появится всадник на вороном коне, в бурке и папахе. Когда ожидание становилось совсем уж нестерпимым, она по утрам уходила в лес, навстречу всаднику.

Однажды она увидела его, такого, о котором мечтала, но он проехал мимо. Она ждала, что он вернется, ведь это ошибка и несправедливость, что он проехал мимо.

Она перестала ждать, только когда родился я. Для нее дверь закрылась навсегда, так ни разу и не распахнувшись настежь.

Но это я узнал только потом.

Чтобы не идти домой, я напрашивался к Сашке, потому что там было чудо из мира чудес — Фатьянова. Сашка не знал, и даже отец не знал, никто не знал, что она чудо. Она кормила нас с Сашкой обыкновенными котлетами, ходила по комнате в обыкновенном халате, натирала после душа руки и лицо кремом из обыкновенной баночки и... была чудом. Она сидела совсем рядом, и я не мог заставить себя не смотреть на нее. Как вор, я крал чудо по кусочку быстрыми взглядами и втайне от всех лепил чудо заново, но уже только для себя одного. Изгиб шеи, тусклый блеск жемчужинки, голубоватая тревожная жилка на виске и припухлость губ. Я брал все, жадничал, спешил, но — неумелый ваятель — копия получалась хуже оригинала. Добавить бы еще намек на горьковатый запах трав и взмах ресниц, почувствовать ее живую теплоту, пронести, чуть касаясь, пальцы над ее лбом, тронуть персиковый пушок на щеках, успокоить жилку и... взерошить вдруг ей волосы, зарыться в них лицом и замереть от восторга и счастливого ужаса, а мысленно уже коснулся, взерошил, уже ощутил ее живой жар щеками и вспотевшими вдруг ладонями, уже испугался и был освящен, только вертелось назойливо школярское: «Страдательное

причастие — это часть речи, обозначающая признак того предмета, который испытывает на себе действие со стороны другого предмета». Учительница говорила, а мальчишки, вкладывая свой смысл, прыскали и перемигивались: «Понял?»

Я рвался из детства, и приоткрылась дверь, уже почти знал и почти чувствовал, смелый в мыслях, уже погружался в мир неясных желаний и, пугаясь, отступал, так и не успев понять.

...Посмотрела на меня, скользнула взглядом, вернулась: «Что с тобой?» — и я задохнулся от запоздалого стыда разоблачения, опустошающей слабости, будто жилы подрезали и нет сил провалиться сквозь землю от того, что услышан и понят.

Мне никогда не удавалось вызвать в памяти ее голос, слова отпечатывались, а голос нет, только дразнящее воспоминание.

Домой я вернулся поздно, слишком поздно, что-то уже произошло. Отец в пустой неподвижности сидел у телевизора, там не показывали ничего, передачи кончились, и по экрану с шипением бежали изломанные полосы, а мать терла и терла тряпкой стол, уничтожая невидимую грязь. Кто-то отпустил пружину, и рука матери двигалась медленно и страшно, пока не кончится заводили не лопнет пружина. У отца она уже лопнула.

Я выключил телевизор.

— Дырку протрешь! — крикнул я, вкладывая в слова силу удара.

Мать вздрогнула, подняла на меня расширенные сухие глаза, а рука ее продолжала выписывать безнадежно правильные круги.

— А пойдем-ка, старик, за кальмарами, — с судорожной веселостью сказал отец.

От воды тянуло холодом. Маленькие аккуратные волны выкатывались из темноты, ломались в круге света тусклыми зеркальными кусками и с тихим плеском разбивались у наших ног. Проектор был где-то высоко над нашими головами на доке. Мы сидели на деревянных ящиках и ловили ошалевших от света кальмаров. Все кальмары были моими, отец потерял право на удачу или забыл волшебное слово. Я дергал кальмарницу, и скользкие белесые тельца расслабленно плюхались на железный настил. В темноте за нашими спинами на полнеба высилась громада парохода в доке, что-то ворчалось, ухало и

скрежетало, взрывались и гасли недолговечные звезды сварки. Кто-то высветил нас двоих из мира, накрыл слепящим конусом, дым отцовской папиросы бессильно тыкался в его стену и сизой спиралью уходил вверх.

— Ты уже взрослый, — сказал отец, подводя итог каким-то своим мыслям. — Когда-нибудь ты меня поймешь, должен понять. Я скоро уеду.

— К Фатьяновой? — спросил я, прежде чем успел сообразить, что именно я хочу сказать.

— Сговорились все, что ли? — Отец по-птичьи втянул голову, чиркнул спичкой, отворачивая от меня лицо, и по его ждущей удара спине я вдруг понял, что сейчас он соврет. Я знал его трусливую ложь за мгновение до того, как он раскрыл рот. И не заставил его замолчать.

— Что Фатьянова? Нужна она мне как... — Он несколько секунд искал слово, но так и не нашел. — Просто я так больше не могу.

Я думал, предают только на войне, под пытками и дулом автомата, когда есть только два пути — или-или. Я думал, на предательство, как и на подвиг, нужно решиться, нужно быть особенным. А это, оказывается, очень просто — предать мимоходом, отмахнувшись удобной ложью.

...Я выбил из-под него ящик, а когда он плюхнулся, как кальмар, безвольно и скользко, я сказал, нет, крикнул, что все знаю, что это трусливо и подло — закрывать глаза и бежать от тех, кто тебя любит. Зачем врать? Что будет со мной?

А он молчал, трусливо прикрываясь от удара рукой.

Нет, не так.

— Не лги, — сказал я, — я видел, как вы стояли тогда на кухне, глаза у тебя были закрыты. Я видел твои пальцы у нее в волосах, я видел ее руки у тебя на плечах. Ты же любишь ее. Зачем врать матери и мне?

— Прости, — сказал отец. — Я чуть не стал предателем. Забудь что я говорил. Я запутался и испугался, со взрослыми это бывает, мне трудно. Ведь ты меня понимаешь, ты мне поможешь?

Ах, если бы это было так!

Память услужливо выталкивает на поверхность фальшивые лубочные картинки, которые при желании можно принять за

правду, только это не правда — тоже предательство, боязнь причинить себе боль.

Я тогда ничего не сказал. Я крепко сжал зубы, чтобы ничего не сказать. Я не выбил из-под отца ящик, просто брал холодных кальмаров и аккуратно укладывал в ведерко, брал и укладывал, брал и укладывал, а когда кальмары кончились, долго и старательно вытирал тряпкой руки.

А потом прожектор погас, и глаза резало от обрушившейся темноты.

Целыми днями пропадал я в сопках, но очень редко удавалось встретить конных воинов и разглядеть замок в тумане, и ворота захлопывались раньше, чем я успевал к ним приблизиться.

А дома стало совсем плохо.

Мать неумело, даже я понимал, как неумело, пыталась склеить нашу разваливающуюся семью. Она коротко постриглась, высветлила челку и стала носить брюки, только это было уже все равно, отец смотрел и не видел. Когда он был дома, мать все делала не так, все слишком. Слишком громко смеялась, слишком фальшиво напевала; накрывая на стол, ставила бутылку вина и подталкивала отца локтем, но он тихо говорил: «Ну зачем это, Надя?» и мать сразу старела, сникала, и уголки губ у нее горестно провисали.

А я молчал и делал себе меч, потому что скоро должно было состояться генеральное сражение между нашей школой и соседней восьмилеткой. Они были римляне, а мы даки.

— Помешались на этих деревяшках, — говорил отец. — Глаза себе повышибают.

— А ты помнишь, — подхватывала мать, — что творилось после «Тарзана», помнишь? Еще песенка была про Тарзана и бабу Читу. «Жили-были три бандита...», как там дальше, помнишь? Ты тогда встречался с Маринкой Свешниковой, черненькая такая... На меня ты тогда и не смотрел... Это уже потом, в летнем саду, когда играл духовой оркестр... Помнишь?

Отец не помнил, он не хотел ничего вспоминать.

— Точно говорю, глаза себе повышибают. Без этого не обойдется.

Он избегал встречаться со мной взглядом, боясь, что я

вернусь к тому разговору в конусе света. Наверное, он понял меня, но ничего не мог добавить, кроме беспомощного «сам поймешь».

Я чувствовал, как он внутренне вздрагивает, когда я к нему обращаюсь. И ждет.

А я молчал. Строгал себе деревяшку, строгал и молчал.

Мысленно, про себя, я часто говорил с отцом, мне многое хотелось ему сказать. Я советовался, спорил, ругался... Но только мысленно.

Это не месть, не наказание. Просто я понял: не нужно ничего говорить.

Если ничего не говорить, думал я, то будто бы ничего и не произошло. Ведь если никто, ни я, ни мать, ни сам отец, ни тетя Люба не будут ничего говорить, то все будет по-старому, будто бы никогда ничего не происходило. Отец опять будет рано приходить домой, опять будет шумный, веселый, будет смелый, мы будем вместе ходить на рыбалку, я буду помогать ему доставать ракушек...

Нужно только затаиться, думал я, забыть и переждать, и все забудется. Все забывается, думал я. Это как со ссадиной, пусть больно, пусть жжет, но скажешь кому-нибудь, и будет болеть и жечь сильнее. А если забыть, не обращать внимания — боль проходит и все забывается.

Ведь в самом деле, что произошло?

Отец не ушел от нас, он с нами — это главное. А все обиды рано или поздно забываются. Я видел старания матери и понимал ее. Она старалась изо всех сил, как могла. Она знала, что без нас отцу будет плохо. Ну как он без нас? Как мы без него?

Мать перестала даже упоминать о Фатьяновой.

Фатьянова... Это было самое непонятное.

Она хорошая, она красивая, она чудо... Может быть, она оттуда, где конные воины охраняют замок в тумане, где сбываются все желания, где крики чаек и курчавые сопки над тихой водой.

Но... но появилась она, и все стало плохо.

И зачем только отцу увидела ее? — спрашивал и спрашивал я себя, и однажды ночью, почти засыпая, когда обрывки ослабленных мыслей накладываются друг на друга, сливаясь в фантастический узор, я понял: отец увидел ее, когда она

сама к нам пришла. Она заставила отца увидеть себя.

Она красивая, но старалась быть еще красивее, чтобы отец уви-  
д е л ее. Она с а м а пригласила его танцевать. Она  
специально ходила с нами за чилимами, чтобы отец уви д е л ее.

Чудо может творить зло.

И поняв это, я уже не мог простить ее.

Я не мог простить ей страх отца передо мной.

Я не мог простить ей ложь отца.

Я не мог простить ей ждущую удара, повинную его спину.

И тогда я отказался от нее.

А может быть, мне просто показалось, что она чудо? Я  
ошибся, никто больше не считает ее чудом. Будь она чудом,  
разве отец отказался бы от нее? Это ведь он сказал: «Нужна мне  
эта Фатьянова, как...» И это не было предательством, это было  
правдой. Я ошибся, просто ошибся, поверил в то, чего нет и  
никогда не было. Бывают такие картинки в книжках: силуэт  
очерчен, а раскрасить можно как хочешь — зеленое небо и  
синие рыбы. Это ничего, что так не бывает, раскрасишь, и как  
настоящее. Веришь и думаешь: да, все верно, так оно и есть на  
самом деле.

Не чудо, я просто раскрасил ее!

Да и есть ли они вообще — чудеса?

Мне не с кем было поделиться своим открытием, я мог  
только молчать и ждать. И слышать, как гулками ударами  
сердца дробится на мелкие кусочки чудо. И вот нет его, не было  
никогда.

В последний раз довелось мне увидеть замок во время битвы  
между «римлянами» и «даками».

На плоской вершине сопки, где мы заняли позицию, собра-  
лись все, кто не уехал в пионерские лагеря. Мои одноклассники  
и ребята постарше с мечами, луками, копьями и просто дубин-  
ками в руках напряженно ждали приближения римлян. Неза-  
метно произошло что-то со всеми. Когда готовили вооружение,  
все знали — игра. Когда укреплялись со смехом и шутками на  
вершине сопки, все знали — игра. Но стоило показаться внизу  
«римлянам», стоило ветру донести неясные обрывки фраз, криков,  
команд, и будто разряд пробежал по всем от человека к челове-

ку. От этой толпы, собравшейся драться непонятно за что, но жестоко, исходил тревожный запах опасности.

Римские когорты, сломав строй, медленно поднимались по крутому, скользкому после дождя склону. Воины часто падали, но поднимались и упрямо карабкались вверх, помогая себе копьями. Ближе, ближе, еще ближе, громче грохот барабанов и низкий рев босвых труб, уже можно различить лица, грязные и злые. Когда они поднялись до середины склона, наш предводитель взмахнул рукой, и вниз покатались горящие бочки, набитые соломой.

Но этих там, внизу, уже нельзя было остановить. Можно было, пока не покатались горящие бочки, а сейчас уже нет, они уже прошли через страх и хотят мстить, видеть наш страх.

Они дойдут до вершины и начнется что-то ужасное. Ну а я-то здесь при чем?!

— По-моему, мы удираем,— сказал Сашка, когда мы скатились по глинистому склону.

— Мы разведчики,— возразил я.— Мы только посмотрим, нет ли опасности с тыла. Если трусишь, можешь вернуться.

Он не ответил, коротко хмыкнул и отвернулся.

А у подножия нас быстро и без труда обезоружила засада римлян. Дылды-восьмиклассники, они скрутили нам руки и связали. Я с облегчением освободился от меча. Попали в плен, ничего не поделаешь, игра есть игра.

Они отвели нас в лагерь римлян. Там стояла палатка с флажками на высоких шестах и горел костер. Несколько девченок, задрапированных в простыни на манер патрицианок, смехом и криками встретили наше появление.

— Я бросаю к вашим ногам презренных пленников, прекрасные дамы,— смешливо шепелявя, объявил конопатый римлянин, один из тех, кто выскочил из засады.— На колени, рабы!

— Так не говорили,— поправил Сашка.— Ты путаешь эпохи.

— Молчи, презренный! На колени!

— Еще чего.

— Перстопчешься,— добавил я.

— А пленники-то с норовом,— сказала девчонка в красной куртке, которой, похоже, не хватило простыни.— А они не кусаются?

Она подошла ко мне и попыталась потрепать по щеке. Я дернулся и свирепо зарычал. Римляне захохотали.



— Совсем дикие! — восхитилась девчонка. — Фракийцы какие-нибудь. Слушайте! А, может быть, они разведчики? Кто у вас главный, признавайтесь!

Сашка шагнул вперед:

— Я главный, — и криво усмехнулся, глянув в мою сторону.

— Он врёт! — крикнул я. — Я главный!

— Ах, какая прелесть! — защелбтали девчонки. — Ну просто сцена из «Спартака»!

— Для прекрасных дам мы устроим сцену из «Спартака», — обрадовался конопатый. — Эти двое будут гладиаторами, они сейчас будут драться.

— Не будем мы драться, — нагнул голову Сашка.

— А мы заставим.

Нам развязали руки и вернули мечи. Дылды-римляне встали вокруг.

— Деритесь! Ну, ребята, давайте хором: трусы, трусы, Т Р У-С Ы!

— Деритесь!

— Из-за тебя все, — прошипел Сашка. — Разведчики... Думаешь, я не знаю... Не будем мы драться!

— Всем расскажем, какие вы трусы. С поля боя сбежали и в плен сдались. На стенах напишем, пусть все знают. Деритесь!

— Стойте! Они не будут драться, — объявила вдруг девчонка в красной курточке. — Им нельзя драться! Закон крови, вот. У них мамы разные, а папа один. А может, и не так, в общем, у их родителей этот... поли... полигамный брак. Вот его отец, — она ткнула у меня пальцем, — живет с одной, а деньги отдает другой, верно? Это будет не битва гладиаторов, а семейная ссора.

— Заткнись! — закричал Сашка. — Тебе-то какое дело?!

Ее слова не сразу дошли до моего сознания. Я не знал, что такое полигамный брак, но я понял одно — они все знают! Эта девчонка, которую я и вижу-то впервые, она все знает. Знает про отца и Фатьянову, про то, что отец собирается уходить от нас. И другие тоже это знают. И не будет никогда по-старому, никогда не забудется, не зарастет рана, будет болеть и жечь, мне будут тыкать в лицо: «Ах, это тот, от которого ушел отец...» А он уйдет, может быть, даже к Фатьяновой, и тогда Сашка будет называть его отцом и ходить с ним на рыбалку, сидеть у него на ногах, когда отец будет доставать ракушек, выбирать место для рыбалки...

— Чилим несчастный! — заорал я. — Ты у меня сейчас будешь драться!

Девчонки у палатки восторженно завизжали.

Поздно, но я понял: мне есть за что драться. И я дрался. Я схватил меч обеими руками и бил наотмашь, как дубиной. Не бояться, не молчать и ждать, втянув по-птичьи голову в плечи, не прощать — бить наотмашь, зубами рвать, защищающийся слаб, а, значит, виноват, и не будет ничего больше, бессилие отца и фальшивый смех матери.

Я бил все фальшивое и ложное, кажущееся красивым, потому что красиво раскрашено; морочащее голову, заставляющее отца лгать мне. Передо мной был враг, вор, захотевший отобрать все сразу. Такого нельзя прощать.

Я ослеп, но это была особая, нужная слепота — не видеть ничего, кроме зажмуренных от мучительной близости глаз отца, рук Фатьяновой у него на шее, тонких, цепких, с хищными ногтями. Красные губы ее, жадно высасывающие чилима, заставляющие отца быть слабым и трусливым...

— За отца, за рыбалку, за жемчужинку...

Меня оттащили, я вырывался, я дрался за свое со всем миром. Меня встряхнули или ударили, и я очнулся.

...Испуганное лицо конопатого, девчонка в красной курточке крутит пальцем у виска, Сашка поднимается с земли, размазывает по лицу что-то темное, грязь или кровь.

— Дурак! Дурак психованный! — кричит он. — Я-то при чем?! Предатель!

Я шел домой, но не дошел, рухнул в траву, вжимался, корчился, силясь исторгнуть горячий вязкий комок, освободиться слезами, но слез не было, и я давился мычанием от бессилия все исправить и переделать.

Не знаю, сколько я так пролежал, часили вечность. Наплыл с моря молочный туман, окутал все вокруг густой пеленой, сгладил звуки и краски. Одежда моя промокла, я дрожал от холода, но меньше всего мне хотелось оказаться дома. Откуда-то из невообразимого далека донесся вдруг приглушенный туманом знакомый звук — приближающийся стук копыт. Прошло совсем немного времени, и вот уже можно различить смутные фигуры всадников, устало покачивающихся в седлах. Хра-

пят кони, развеваются плащи, тускло блестят доспехи. Молчаливые и таинственные, они проехали мимо, едва меня не коснувшись, и когда за последним сомкнулся занавес тумана, я опомнился и побежал следом. Я бежал изо всех сил, не разбирая дороги. Только бы догнать их! Я опоздал: последний всадник въезжал в ворота замка, я рванулся, в два прыжка преодолел подъемный мост и... руки уперлись в окованные железом уже запертые ворота.

За этими запертыми для меня воротами был чудный мир, сложенный из ожидания, поисков и находок, там были надежды и сбывшиеся мечты, удачи и счастье.

Вот только меня не было там.

Замок вдруг покачнулся, задрожали стены и башни и рассыпалось беззвучно все прахом. Нет ворот, некуда ломиться; нет чуда, нечего хотеть; нет веры, не на что надеяться.

Обыденно все стало и серо.

На две смены меня отправили в пионерский лагерь, я загорел и здорово вырос, а когда вернулся домой, отца уже не было, он уехал в Кишинев, где жили дед с бабкой. Каждый месяц мать получала от него алименты, а на день рождения он прислал телеграмму на красивом бланке: медвежонок сидит перед бочонком меда, а зайцы бьют в барабаны. Телеграмму я выбросил.

В школе я пересел от Сашки на первую парту, чтобы не видеть свежего шрама у него на щеке, но иногда оборачиваясь, наталкивался на его взгляд из-под пушистых, как у Фатьяновой, ресниц, и к горлу, как тогда, подкатывал горячий комок.

А потом Фатьяновы уехали. Не в Кишинев, куда-то в другой город.

«Комета» сбавила ход, опустилась на воду, по широкой дуге мимо скалы, похожей издали на пограничника в плащ-палатке, завода со скопищем судов у причальной стенки, подошла к причалу.

Он вышел сразу за мной.

— Узнаешь?

— Сашка,— сказал я.— Фатьянов.

Пока мы шли вдоль берега к поселку, он рассказывал, что теперь работает здесь рыбнадзором, гоняет браконьеров на Корабельных островах. Узнав, что я прислал на месяц, он пред-

ложил сходить вместе на рыбалку, у него лодка с мотором. Я согласился.

— И вот еще, — помолчав сказал он. — Тот замок... помнишь? Я его так и не нашел, но он где-то совсем рядом. Попробуем вместе?

## ПУТНИКИ

Они не были богами, они были людьми. Их всегда было немного, но они всегда были. Они звались Путниками. Никто не знал, как стать Путником, но стать им мог каждый, потому что в каждой душе живет частичка души Путника.

Люди шли, и Путники шли среди них впереди. Люди останавливались для отдыха, а Путники все равно шли, разведывали дорогу и возвращались, чтобы повести за собой остальных, помочь больным, подбодрить уставших и снова идти. Путники догадывались, что Дорога бесконечна, и Дорога была их жизнью, но люди хотели покоя. Найдя подходящее место, они говорили: «Мы дальше не пойдем» — и останавливались, строили жилища, возделывали землю, любили и ссорились, растили детей, ненавидели и убивали. Люди просто жили, и если им было хорошо, они забывали о Путниках.

Если плохо — проклинали их.

А Путники... Путники тоже были людьми. С людьми они и оставались до тех пор, пока неодолимая сила снова не звали их в дорогу.

### 1. Хромой Данда.

Зыбкая полоса земли показалась на горизонте, когда надежда уже покинула измученных отчаявшихся людей, но прошло еще два томительных дня, прежде чем семь кораблей с воинами, женщинами, стариками и детьми — всеми, кто уцелел в жестокой войне, — приблизились к неведомому берегу.

Один за другим на веслах в просторную бухту, защищенную от ветра похожими на клыки чудовища бурными скалами. Тучи потревоженных птиц поднялись в воздух и с пронзительными криками замесались над мачтами. Крики птиц да скрип уключин — ни звука больше не раздавалось над гладкой водой. Люди молчали. Ликование при виде земли сменилось привычным

чувством сосущего ожидания и тревоги. Поросший густым лесом берег выглядел безлюдным, но кто знает, что ждет там беглецов?

Окованный медью нос корабля заскрежетал по песку, и Гунайх с обнаженным мечом в одной руке и босвым топором в другой спрыгнул на узкую песчаную полосу, за которой сразу же сплошной стеной вставал незнакомый лес.

Тихий, подозрительно тихий лес.

Некоторое время Гунайх выжидал, вглядываясь в заросли, потом подал знак и тотчас через борт, бряцая оружием, но все еще в полном молчании, посыпались воины. Едва коснувшись ногами земли, они втягивали головы в плечи, будто ожидая удара, и озирались по сторонам, судорожно сжимая мечи и топоры.

Трусые! — со злостью и горечью подумал о них Гунайх. Самые лучшие, самые верные погибают первыми. Выживают трусы.

Он вполголоса отдал несколько кратких приказаний, и воины, разделившись на три отряда, приводившей в бешенство опасливой трусцой направились к зарослям.

Гунайх остался на берегу один.

Только бы не засада, — думал он, шагая взад и вперед вдоль кромки воды и окидывая короткими цепкими взглядами поглотивший разведчиков молчаливый лес, затянутые дымкой далекие снежные вершины гор и свои корабли, где укрывшись за высокими бортами, изготовились к стрельбе лучники, и самые могучие воины уперлись шестами в дно, готовые в случае намека на опасность до хрипа, до крови из глоток напрячь мышцы, вырвать корабли из песка, разом вспенить веслами воду...

...готовые бежать, скрываться, втягивать трусливо голову в плечи, по-заячьи запутывать следы и каждое мгновение чувствовать на затылке дыхание погони.

Только бы не засада!

Только бы земля эта оказалась безлюдной, только бы сбылось обещание хромого Данда, — как молитву, как заклинание повторял про себя Гунайх.

Передышка, несколько месяцев, несколько лет передышки. Боги! Я не прошу многого, я прошу только покоя!

Время — вот что нужно клану. Время, чтобы воины забыли о поражениях, чтобы выпрямились их спины, время, чтобы

женщины нарожали детей, время, чтобы подросли и стали воинами дети, не видевшие слабости отцов, время, чтобы снова стали как пальцы одной руки, которую всегда можно сжать в кулак.

Несудачи озлобили людей, отняли у них смелость и разум. Перед сражением воины больше думают об бегстве, чем о победе. Неспокійными стали глаза женщин, визгливыми их голоса. Младенцы, зачатые в страхе перед завтрашним днем, рождаются трусами.

Все чаще и чаще Гунайх ловил на себе угрюмые взгляды исподлобья, а вечно всем недовольные старики словно бы невзначай вспоминают о древнем испытании и обряде смены вождя.

Глупцы! Только благодаря ему, Гунайху, клан до сих пор не истреблен до последнего человека.

Гунайх вспомнил, как ночью, которая должна была стать для клана последней, он сидел у костра, обнимал за плечи младшего, единственного оставшегося в живых сына, и рассказывал ему о победах и былом величии клана. Мальчик слушал и, Гунайх чувствовал это, не верил ни одному слову, глаза его слипались, и все ниже склонялась голова. Гунайх уже решил про себя, что как только Гауранга уснет, он сам даст ему легкую смерть. Негоже сыну вождя попадать в плен и гореть заживо в жертвенном костре победителей.

Наконец мальчик уснул, а Гунайх долго еще сидел, вынув нож и неподвижно уставившись в огонь, не в силах перечеркнуть последнюю надежду.

Но боги смилостивились.

Дозорные приволокли к костру дряхлого старика с всклокоченными седыми волосами и в заляпанной грязью изодранной одежде. Голосом, какой мог бы быть у расщепленного морозом пня, старик требовал разговора с вождем.

— Хорошо у костра такой ночью, как эта,— проскрипел старик, когда дозорные, по знаку вождя, ворча, отошли в сторону. Он поворошил угли концом своего длинного посоха, протянул к огню костлявые руки и зябко поежился, сразу став похожим на большую мокрую птицу.— Еще бы миску горячей похлебки и кусок лепешки... Прикажи, вождь, не жалеи. Зачем обреченным пища? И старому Данда не надо, всего-то миску похлебки и кусок лепешки.

А, вождь?

В другое время после таких слов наглец уже корчился бы с перебитым хребтом, но сейчас Гунайх лишь спросил:

— Кто ты, откуда и зачем пришел?

— Тот, кого отовсюду гонят, может рассказывать долго, а у тебя нет времени слушать, скоро рассвет. Я пришел, чтобы помочь тебе... Кто бы мог подумать, что старый Данда будет предлагать помощь могучему Гунайху! — старик засмеялся, будто горсть зерна бросили в пустой котел. — Они начнут с восходом солнца, ты это знаешь, вождь. Их много, очень много, это ты тоже знаешь. Против тебя объединились все соседние кланы. Сильные всегда готовы объединятся против слабого. Потом они будут грызть друг другу глотки за твою землю и скот, но это будет потом. Пройдет совсем немного времени, и слабый снова будет гоним, а сильный снова будет его преследовать. Пройдет совсем немного времени, и люди забудут, что земля эта принадлежала могучему Гунайху, забудут имя твое и подвиги, мужчины клана погибнут в бою или сгорят в жертвенных кострах, а женщины найдут утешение в чужих шатрах. Ты все это знаешь, вождь.

— Зачем ты мне это говоришь? — глухо произнес Гунайх. Страшная усталость навалилась вдруг на него, согнула плечи, придавила к земле, не было сил поднять руку, будто жилы подрезали, и хотелось лишь одного — чтобы скорее наступило последнее утро, и сбылось, наконец, то, о чем все знали.

Гауранга вдруг коротко вскрикнул во сне, от крика своего проснулся и в испуге уставился на возникшее перед ним по ту сторону костра темное, будто высеченное из коры неумелым мастером лицо старика.

— Кто это? — прошептал он.

— Не бойся, он сейчас уйдет. Я дам тебе похлебки и лепешку, — сказал вождь, обращаясь к старику. — Дам столько лепешек, сколько ты сможешь унести. Забирай и уходи. Ты прав, обреченным не нужна пища. Уходи. Ну!

Но Данда не собирался уходить. Не за тем он пришел.

— Я пришел вовремя, — как ни в чем не бывало проскрипел он, поглаживая повох. — Старый Данда знает, когда нужно приходить! Долго я ждал этого дня. Ты слушал и не слышал, вождь. Я пришел помочь тебе и... спасти. И его тоже спасти, —



он кивнул на мальчика, тот напрягся и прильнул к отцу.— Я скажу тебе то, чего никому не говорил, потому что никто бы не поверил. Слушай вождь: есть другие земли! Я поведу тебя туда...

Старик говорил невероятное.

Другие земли. О которых никто ничего не знает. Земли, которые лежат там, где море сливается с небом.

Но там не может быть никаких земель! Все знают, есть только одна земля, зачем богам создавать другие?

Старик говорил невероятное.

Поверить ему мог только приговоренный к смерти.

Гунайх поверил. Сомнения и усталость покинули его.

Раненым, которые не могли двигаться сами, дали легкую смерть. Лошадей и скот прирезали. Повозки и шатры изрубили в щепу. Шли ночь, весь следующий день и еще ночь. Оступившиеся тонули в трясине без крика.

Гауранга, словно привязанный, все время был рядом со стариком, и тот что-то вполголоса рассказывал ему. Глаза мальчика сияли, и Гунайху впервые довелось услышать, как он смеется. Юность всегда больше склонна верить сказкам о будущем, чем правде о прошлом.

Тайными тропами через болото хромой Данда вывел клан к побережью. В защищенной от ветра бухте в ожидании добычи покачивались на мелкой волне корабли торговцев-стервятников.

Торговцев и немногочисленную конную охрану вырезали без пощады, в живых оставили только кормчих. Погрузились на семь кораблей. Остальные сожгли.

Потянулись долгие, холодные, в лихорадочном бреду неотличимые один от другого дни плавания к земле, о которой никто ничего не знал, которой просто не могло быть, потому что нет другой земли, кроме той, что оставили беглецы.

— Какой ты хочешь награды? — уже на корабле спросил Гунайх старика.

— Я скажу, когда мы достигнем земли,— ответил Данда.

Кто ты и откуда пришел?

— Он просто Путник,— ответил, переглянувшись со стариком, Гауранга.

Солнце высоко, зыбкое марево дрожало над песком, по которому все так же размеренно, не выпуская из рук оружия, шагал Гунайх. Вытекла из щелей и пузырилась смола на палубе,

изнемогали от зноя и изнуряющей неизвестности люди. Покрылась бисеринками пота и подрагивала рука воина, с обнаженным мечом стоявшего подле старого Данда.

— Как долго! Почему они не возвращаются? — тербил старика потерявший терпение Гауранга. — Они вернуться? Ты же обещал, что там не будет никого... А если...

Старик не отвечал, он неотрывно глядел поверх борта на далекие заснеженные вершины гор и не замечал, казалось, ни опасной близости смертоносной стали, ни жары, ни тормозящего его мальчика. Губы его беззвучно шевелились, но никто, даже Гауранга, не смог бы разобрать слетающих с них слов.

— Данда! Ну, Данда же! Чего ты молчишь? А вдруг там люди?..

— Помоги мне, — старик ухватился одной рукой за Гауранга, другой за посох, встал на ноги и прокричал: — Они возвращаются.

В самом деле, со стороны леса послышался какой-то шум, треск сучьев под беспечной ногой, голоса, и, наконец, показались посланные на разведку воины. Четверо сгибались под тяжестью огромного оленя, остальные были увешаны тушками битой птицы. Чуть позже подошли два других отряда. В шлемах воины несли неведомые сочные плоды и ягоды, серебряной чешуей сверкали связки рыбин, кожаные фляги были наполнены чистой родниковой водой.

Персбивая друг друга, все говорили одно и то же: никаких следов человека, звери и птицы не пуганы, ручьи полны рыбы, а в двух полетах стрелы, за холмами, есть долина, будто созданная для поселения.

Не дожидаясь сигнала, корабли один за другим ткнулись в берег, ликующая толпа переклестнула через борта, оружие и тяжелые доспехи полетели в одну кучу, и недавние беглецы, почувствовав, наконец, долгожданную свободу и безопасность, превратились на время в детей. Разведчиков снова и снова заставляли рассказывать об увиденном, и каждая новая подробность встречалась восторженным ревом. Истосковавшиеся по земле ребяташки, забыв про голод, устроили на песке веселую возню, женщины не вытирали светлых слез, а воины со всего размаха хлопали друг друга по спинам, сцепив руки и образовав круг, в центре которого был вождь, пустились в пляс, как во время большого праздника, хором взрывая:

— Гу-найх! Гу-найх! Гунайх!

Последним сошел на берег хромой Данда. Гауранга тут же подбежал к нему и подставил плечо. Опираясь на мальчика, старик направился к танцующим воинам. Завидев его, те прервали пляску и расступились. Смолкли голоса, и почудилось всем, или это было на самом деле, что расправились плечи старика, выше стал он ростом, помолодели и засверкали глаза его.

Медленно шел Данда, благоговейным было молчание воинов. Старик появился в трудную для клана минуту и спас их. Многим так и не суждено было бы увидеть эту землю, не умей Данда залечивать самые страшные раны, сращивать сломанные кости и прикосновением прохладной ладони снимать жар и успокаивать лихорадку. Но кто он и откуда пришел?

Подбоченившись и ухмыляясь в усы, Гунайх ждал, когда Данда приблизится.

— Старик! Ты умер бы первым, окажись здесь люди! — со смехом выкрикнул он, и вздрогнули воины от этих слов. — Ты оказал нам большую услугу. Скажи наконец, какую ты хочешь награду?

— Вам здесь жить, — раздалось в ответ. Удивительный негромкий голос Данда, похожий одновременно на скрип расщепленного морозом пня, шелест травы и клекот птицы, одинаково хорошо был слышен и стоящему рядом Гауранга, и сбившимся поодаль в кучку и ожидающим решения своей участи кормчим.

— Здесь будет ваш новый дом, — говорил Данда. — Здесь все ваше: море и рыба в нем, лес и зверье, земля и птицы. Вы все начинаете сначала и постарайтесь сделать так, чтобы новый дом не был похож на тот, что вы покинули, иначе участь ваша будет печальна.

Гунайх понял. Гунайх согнал улыбку с лица. В словах старика ему почудилась угроза.

— Как тебя понимать? Помолчите вы! — рявкнул он на возмущенно зашептавшихся старейшин клана, во всем видевших поправление древних традиций. — Говори, старик, кто нам может угрожать? Почему печальной будет участь? Говори!

Данда покачал головой и вздохнул.

— Я немало ходил и немало видел на своем веку, — сказал он. — Видел разных людей, разными были у них жилища и

одежда, мысли и обычаи. Рожденный обречен на смерть, но между рождением и смертью лежит дальняя дорога — Жизнь. И как эту дорогу пройти, кого выбрать в спутники, зависит только от людей. Мы сами сделаем свою судьбу, и мало кому выпадет счастье построить жизнь заново, свернуть в сторону с дороги, ведущей к пропасти. Вам выпало такое счастье. Так зачем же тащить старую рухлядь в новый дом? А что до награды...

Он улыбнулся, глаза затерялись в сетке морщин.

— Старому Данда много не надо. Миску горячей похлебки и кусок лепешки...

— Смотрите! — раздался чей-то крик. — Смотрите же!

Невесть откуда взявшаяся белая птица медленно кружила над людьми, опускаясь все ниже и ниже. Снежные крылья едва не коснулись запрокинутых лиц, и птица легко опустилась на плечо Данда. Он погладил ее, птица доверчиво потерлась клювом о его ладонь.

— К счастью! Счастливый знак! — пронесся шепоток, и закаленные в боях воины, ощутив неожиданную робость, подались назад, но уже через мгновение разразились ликующими криками.

Гауранга хмыкнул и снизу вверх хитро подмигнул старику. Тот пожал плечами и тоже улыбнулся.

Снежно-белая птица, испугавшись громких голосов, снялась с плеча Данда и полетела в сторону леса.

Веселье продолжалось до глубокой ночи.

— Я назову эту землю Гунайхорн — земля Гунайха! — говорил захмелевший вождь.

— У этой земли уже есть название, — тихо, так, что его слышал только сидящий рядом Гауранга, пробормотал хромой Данда. — Латриал — земля, которую ищут.

— Я построю в долине меж холмов город и обнесу его крепкими стенами!

— И город превратится в тюрьму.

— Я выставлю сторожевые посты в горах, и никто не пройдет в нашу землю незамеченным!

— И никто незамеченным не сможет покинуть ее...

— Зачем посты и стены? — возразил Балиа, брат вождя, — здесь нет никого, кроме нас, все враги остались за морем, будь они тысячу раз прокляты!

— Нет врагов? — рявкнул Гунайх. — Враги всегда есть! Но больше они не застанут нас врасплох. Я восстановлю утраченное могущество клана и никому не позволю его подорвать. Отсюда мы никуда не уйдем. Костями ляжем, но не уйдем. Старик прав, здесь наш новый дом, и у этого дома должны быть крепкие стены. Балиа, ты завтра же возьмешь людей, пойдешь в горы и разведаеть, есть ли там хоть одна живая душа!

Балиа в знак повиновения склонил голову и прижал руки к груди, и только Гауранга заметил, какой радостью сверкнули его глаза.

— Новая земля, новый дом, — уже сонно бормотал Гунайх. — Я всех заставлю строить новый дом...

— И изо всех сил будешь стараться сделать его похожим на старый...

Вождь вскинул голову, обвел всех мутным взглядом.

— Старик! Что ты там скрипишь? Ты так ничего и не попросил в награду... Ты хитер, ты знаешь, что сейчас мне нечего тебе дать. Ты хитер, ты подождешь, пока я разбогатею, но я не жаден, проси чего хочешь... - хмельное питье и усталость взяли свое, Гунайх повалился набок и захрапел.

Утомонились уже под утро. Сон сморил всех, даже кормчие, так и не узнавшие, принесут их в жертву или оставят жить.

Наступая на разбросанные по песку обглоданные кости и мусор, обходя лежащих вповалку воинов, хромой Данда подошел к самой воде и долго стоял там, опершись на посох. Большая белая птица возникла из темноты и села ему на плечо.

— Как твое крыло? — спросил Данда. — Уже не болит? Хотел бы я полететь вместе с тобой и посмотреть, что там дальше, за горами и пустыней...

Гауранга осторожно положил на землю только что пойманную и еще трепыхавшуюся рыбину, обер руки пучком травы и вытащил из колчана стрелу.

Только зденькнула тетива, коротко пропел ветер в оперении, фазан подскочил над высокой травой, упал, хлопая крыльями, закружился на одном месте.

— Попал! Попал! — закричал Гауранга, потрясая луком. Он подбежал к бьющейся птице, прикончил несколькими ударами ножа, поднял добычу высоко над головой.

— Данда! Ты посмотри, какой красавец!

— Кровью испачкаешься, — сказал Данда, подняв голову от охапки травы, которую собрал на полянах и теперь перебирал, сидя под деревом.

Гауранга нарочно подставил руку под кровь, толчками бьющую из перерезанной шеи птицы, и мазнул себе по лицу:

— Не пристало будущему вождю бояться крови! — воскликнул он.

— И не пристало зря проливать ее. Ты не был голоден, зачем убил?

Данда с кряхтением поднялся на ноги и, не оглядываясь, пошел к лесу.

Глядя ему в спину, мальчик возмущенно фыркнул. Надо же, зря убил! Разве убивают только для еды? На войне тоже убивают... Но там враги. Или ты их, или они тебя. А в жертву? Когда кормчих поймают, их принесут в жертву, хоть они не враги и не пища, просто чужие. Если поймают. Попробуй разыщи их... Но какой выстрел!

Гауранга прицепил к поясу рыбину и фазана и вприпрыжку припустил за стариком, догнал его и пошел рядом, принаравливаясь к хромой поступи.

— Все вокруг такое, каким мы его делаем, — будто не замечая мальчика, скрипучим голосом говорил Данда. — Выйди с обнаженным мечом, и все вокруг при виде тебя возьмутся за оружие. Улыбнись — и улыбнутся в ответ. Запри дверь свою, и сосед сделает то же самое. Возведи вокруг дома стены, и всюду тебе будут чудиться враги.

— Разве плохо иметь крепкие стены и доброе оружие под рукой?

— Окружать себя нужно не стенами — друзьями.

— А вдруг среди них предатель, враг? Или все они враги и лишь искусно притворяются? Те же кормчие: убили двух стражников и бежали.

— Ты будешь вождем, — грустно проговорил Данда. — Только помни: будешь зол ты — будут злы и жестоки все вокруг, и страх поселится в душах, небо из голубого станет серым, поблекнет листва на деревьях, и холодным станет солнце. Кормчих хотели убить, и они спасали свою жизнь.

— Но ведь нужно же кого-то принести в жертву!

Старик рассмеялся.

— Разве можно чужой кровью купить себе счастье? Ты будешь вождем...

Гауранга засопел. Он всегда сопел, когда злился. Данда говорил непонятное. Он хороший, никто не может так здорово различать голоса птиц, так быстро находить вкусные коренья и так интересно рассказывать. Но когда он говорит непонятное...

Будто прошлогодняя хвоя попала за шиворот и колется, колется, колется...

Гауранга посмотрел на небо. Оно не было серым, оно было голубым, и солнце было холодным.

— Давно белан не прилетал,— сказал мальчик.— Забыл, наверное, как на корабле мы лечили его крыло...

Он вдруг осекся и замер на месте с поднятой ногой. Шагах в пяти из-за дерева вышел, покачиваясь, до бровей заросший бородой человек в лохмотьях и заступил дорогу. В руках он сжимал узловатую дубину. Голодно сверкающие глаза обшарили старика и мальчика и остановились на мальчике. Мужчина шумно сглотнул, дернулся вверх и вниз острый кадык, напряглись руки.

Гауранга попятился. Кормчий. Где-то поблизости могут быть и другие.

Отпрыгнуть в кусты и бежать. Кормчий не догонит, куда ему! Позвать воинов. Но Данда...

Мальчик тоскливо оглянулся по сторонам. Помощи ждать неоткуда.

Кормчий, не сводя глаз с пояса Гауранга, шагнул вперед, перхватил поудобнее дубину. Данда угрожающе поднял посох и встал между мальчиком и кормчим, но Гауранга отстранил старика. Он отцепил от пояса фазана и рыбину, положил на землю перед кормчим и отступил. Он хотел что-то сказать, но язык отказывался повиноваться, и тогда мальчик просто раздвинул губы в подобии улыбки.

Удивительная перемена произошла вдруг с кормчим. Он отшвырнул дубину, обеими руками схватил рыбину и фазана и, прижимая к груди, в несколько прыжков скрылся за деревьями.

Увидев врага убегающим, Гауранга вскинул было лук, но рука старика опустилась ему на плечо, крепко сжала.

— Не надо,— сказал Данда. Голос его дрожал.— Ты все правильно сделал. А я испугался!— он коротко сыпанул трескучим смехом.

Возвращались молча. Рука старика лежала на плече мальчика. Когда меж деревьев стали видны почти готовые стены, сложенные из толстых бревен, и слышны голоса копающих ров людей, Гауранга спросил:

— Ты ведь не уйдешь от нас, Данда?

— Еще не знаю,— с испугавшей мальчика серьезностью после долгой паузы ответил старик.

Дозорные спали, никто не окликнул скользнувшего в приоткрытые ворота человека и, оказавшись вдали от стен, в густой тени деревьев, он с облегчением вздохнул. Некоторое время, замерев на месте, он вслушивался в ночную тишину, ожидая вскрика испуганной птицы, звяканья оружия или хруста ветки под неосторожной ногой. Но ничто не показалось ему подозрительным, он вышел из-под дерева и быстрым шагом, сторонясь тропинки, направился туда, где на обращенном к морю склоне холма стояла крохотная хижина хромого Данда.

На пороге он обернулся, еще раз внимательно огляделся по сторонам, потом без стука толкнул дверь и вошел внутрь. Едва дверь закрылась за ним, как из кустарника появилась маленькая юркая фигурка и прильнула к стене рядом с окном.

В эту ночь сон обошел стороной не только хижину хромого Данда. Бодрствовал и Гунайх, а вместе с ним пять старейшин клана. После обильной пищи и хмельного питья им хотелось спать, они важно клевали носами, недоумевая про себя, зачем вождю понадобилось звать их в столь поздний час, а речь Гунайха все текла и текла. Для каждого он нашел доброе слово, каждому напоомнил о его заслугах перед кланом. Он вспомнил стародавние времена, когда клан был могуч и богат, и соседи искали с ним дружбы.

— Да-да,— кивали старцы.— Были такие времена. Нам ли их не помнить?! — И глаза их туманились, а выцветшие губы растягивались в улыбках. Славные были времена, сытые и спокойные.

— Но потом у вождя родились сыновья-близнецы, и по древнему обычаю клан разделился. Все ли это помнят?

— Да-да,— кивали старцы и мрачнели.— Так было. Древний обычай не был нарушен.

Именно тогда, с Раздела начался закат славы и удачи,— напирал Гунайх. Соседи обнаглели, война следовала за войной,



и ему, Гунайху, досталось жалкое наследие чужой глупости. Да-да, глупости! Но он не роптал, нет, он воин и сын воина. Но неудачам не было конца, соседи были сильнее, а кое-кто опять вспомнил древние обычаи и начал шептаться по углам о смене вождя.

Старцы, почувяв угрозу, принялись что-то бормотать, но Гунайх их не слушал.

Испугались! — удовлетворенно думал он про себя, вглядываясь в ненавистные лица. — Это хорошо, что испугались, хорошо, что поняли, наконец, свою слабость здесь, на новой земле, где некому пожаловаться и не у кого искать защиты.

Как же люто он ненавидел их, бесполезных в делах военных и мешающих в дни мира! Вечно брюзжат и всегда у них наготове какой-нибудь древний обычай или достойное подражания деяние предков. Иногда Гунайху казалось, что собравшись где-нибудь в укромном месте они сами выдумывают и обычаи и деяния предков. Но теперь все будет по-другому. Теперь он, Гунайх, один будет решать судьбу клана. И пусть кто-нибудь осмелится возразить! Но почему же так долго не возвращается Гауранга?

— Духи наших предков создали эту землю для клана взамен утерянной, — сказал Гунайх. — Они послали проводника — хромого Данда...

При звуках этого имени старцы оживились, думая, что гроза миновала. По древним обычаям чужак не имел права жить внутри городища, и хижина Данда стояла в отдалении, но редким был день, когда там не толпились бы воины или старики, женщины и детвора, люди пришедшие за лечебными травами, советом или просто так.

— Хромой привел нас сюда, — сказал один из старцев, которого Данда вылечил от болей в пояснице. — Он учит детей, лечит раны воинов...

— Это так, — оборвал его Гунайх. — Устами Данда говорят с нами духи предков. И они сказали: здесь наш новый дом, Здесь! Все это слышали на берегу, куда пристали наши корабли, и где на плечо хромого опустилась белая птица. Это так, все видели, все это знают. Но я знаю еще кое-что...

Гунайх обвел старцев взглядом, от которого мурашки пробежали у них по спинам, отхлебнул из кубка и продолжал:

— Я не умею говорить долго и красиво, как мой брат Баалиа,

я воин.— Он выдержал паузу и, услышав, наконец, за дверью стремительные шаги, сказал: — Послушаем моего сына Гауранга.

В тот же миг дверь распахнулась.

— Он там! Он опять там! — с порога закричал Гауранга. Глаза его лихорадочно блеснули, волосы были растрепаны, а одежда мокра от росы.— Он опять там и опять уговаривает Данда бежать! Предать нас всех и бежать!

— Успокойся,— приказал вождь и усадил мальчика на скамью подле себя.— Не подобает будущему воину и вождю вести себя на совете клана подобно женщине в грозу. Говори по порядку.

Только сейчас Гауранга заметил сидящих вокруг стола старцев. Он густо покраснел, вопросительно глянул на отца, а когда тот подбадривающе похлопал его по плечу, прерывающимся от волнения голосом стал рассказывать.

Гауранга говорил о том, что Гунайх и старцы знали сами: Балиа дошел со своими людьми до Дальних гор и нигде не встретил человеческого жилья. Непрístupные горы и море — отличная защита от врагов.

— Он говорил,— мальчик запнулся и после долгой паузы продолжал,— он говорил, что только... глупец, разум которого помутился от страха и несудач, может заставлять людей возводить стены, копать рвы и ямы, когда нет никакой опасности...

— А Данда? — спросил вождь.— Он что говорил?

— Что в дальних горах есть проход, и там, за горами, пустыня...

— Так я и знал! — воскликнул Гунайх.— Проход в горах! У любой крепости есть слабое место. Дальше!

— Балиа говорил, что многие недовольны вождем. Люди устали и хотят жить спокойно...

— Жить спокойно! А разве я этого не хочу?! — Пальцы Гунайха, вцепившиеся в толстую столешницу, побелели.

— Он говорил, что клан нужно разделить. Пусть те, кто хочет строить крепость, останутся здесь, а другие возьмут один или два корабля и поплывут вдоль берега, чтобы найти новое место и жить там, как им хочется. Он сказал, что в совете есть те, кто думает так же...

— Неправда! Мальчишка лжет! — взвизгнул неповоротливый тучный Вимуддах.— Кто докажет, что он все это слышал, а не придумал только что?

— А разве нужны еще доказательства? — медленно проговорил Гунайх.

Вимудхах поперхнулся, заерзал на месте, обернулся по сторонам, ища поддержки, но мудрые старцы, глядя в пол, уже потихоньку отодвигались от него.

И тогда Вимудхах испугался.

— Этого не может быть! — просипел он. — Я не верю, что кто-нибудь в совете думает о разделе клана. Балиа — безумец и отступник. Никто и не думает так, как он. Он предатель!

Вот слово и прозвучало, Гунайх ухмыльнулся в усы.

— А Данда.. Данда согласился уйти на кораблях? — медленно спросил он, тоном подсказывая ответ.

Мальчик замстался глазами из стороны в сторону, залепетал:

— Данда... да... Нет! Нет, нет... Это все Балиа. Он уговаривал, грозил... Он посмел грозить старику! Балиа предатель!

Вимудхах, лицо которого обрело уже нормальный цвет, спросил:

— «Да» или «нет»? Совет должен знать правду.

— Я не расслышал, — тихо прошептал Гауранга, стараясь ни с кем не встерчаться взглядом. Щеки у него пылали, и комок горсчи застрял в гортле. Предчувствие потери сжало ему сердце, он сожалел о сказанном.

— Только не изгоняйте его, — губы мальчика задрожали, он вскочил и выбежал за дверь.

— Все ясно, — чувствуя близкое прощание сказал Вимудхах. — Все ясно. Они оба предатели, а согласно древним обычаям наших предков...

— Все ли так думают? — спросил Гунайх. — Все согласны?

Все были согласны.

Балиа замолчал, поднял голову, прислушиваясь, и на всякий случай пододвинул к себе меч.

Он не успел обнажить его. Дверь, сорванная с ремennых петель мощным пинком, грохнула об стену, и вихжину с топором в руке ворвался Гунайх.

— Совет назвал тебя предателем и по древнему обычаю наших предков приговорил тебя к смерти! — прорычал он. — Завтра я сам покажу твою голову клану!

Он взмахнул топором, но Балиа успел уклониться, и блеснувшее в пламени светильника широкое лезвие раскрыло пустоту.

Гунайх был опытным бойцом. Тяжелый топор казался игрушкой в его руках. Удар следовал за ударом, но Балиа чудом удавалось всякий раз избежать смерти. Короткий меч был сейчас бесполезен, и ему приходилось рассчитывать только на свою ловкость.

Перебрасывая топор с руки на руку, быстро передвигаясь на коротких ногах, Гунайх атаковал со всех сторон сразу, постепенно отжимая брата в угол. Развязка была близка и неминуема, оба это понимали. С начала схватки ни один не проронил ни слова, в хижине раздавалось лишь тяжелое хриплое дыхание Гунайха, короткое, с присвистом сквозь сжатые зубы — Балиа, да шарканье ног по земляному полу.

Ни звука не издал и хромой Данда, сидящий, как и сидел до появления Гунайха, в дальнем углу и полностью, казалось, безучастный к происходящему. Не было ни страха, ни ненависти в его глазах, только безмерное сожаление, когда он переводил взгляд с огромного, похожего на разъяренного кабана, Гунайха, на гибкого и стремительного Балиа. И будто устав смотреть на братьев, таких разных внешне и таких схожих в стремлениях, старик прикрыл глаза и словно бы даже задремал. Больше всего ему хотелось сейчас оказаться на пустынном берегу и слушать шорох волн, бегущих из дальних-дальних красв, где нет злости, ненависти и невежества. Должны же быть такие края!

Схватка между тем продолжалась. Зажатый в угол Балиа неуловимо быстрым движением мстнул свой меч в Гунайха. Тот на мгновение растерялся, успев однако отбить удар, но и этой задержки оказалось достаточно. Балиа двумя руками подхватил скамью и обрушил ее на брата. Схватившись за голову, Гунайх грузно осел на пол. Балиа сверху бросился на него, но получил огромной силы удар ногами в живот и отлетел к стене. В следующий миг Гунайх был уже на ногах. Он поудобнее перехватил топор и с коротким хканьем нанес последний удар.

Потом он наклонился, подобрал с пола меч Балиа и повернулся к Данда. Залитое кровью лицо вождя было страшно. Выставив вперед руку с мечом, он медленно подошел к старику.

— Вот этого ты и добивался,— хрипло проговорил Гунайх. —Чтоб мы вцепились друг другу в глотки, чтоб клан разделился, а уж потом ты бы прибрал к рукам этого мальчишку,— он кивнул в сторону брата.— Раздела не будет, ты ошибся, старик. Но ты еще многое должен сказать мне.

- Мне нечего тебе сказать, — ровным голосом отвечал Данда.
- Ты колдун.
- Я человек. Такой же, как и ты.
- Ты привел клан сюда, чтобы здесь разделить, а потом позвать тех, кто пребывает нас поодиночке. Или же ты хотел сам стать вождем и начать войну со мной после Раздела?
- Ни то, ни другое. Вас перебили бы всех еще там, — старик махнул рукой в сторону моря. — Для этого не было нужды вести клан сюда. Я привел, чтобы спасти вас. Никто кроме меня не знает дороги в эту землю.
- Ты околдовал нас. Ты позвал, и мы пошли. Никто не верил, что есть эта земля, но мы пошли.
- Потому что хотели жить.
- Зачем тебе это? Чего ты хочешь? Ты притягиваешь людей, и они слушают тебя. Чего ты хочешь, старик? Отвечай!
- Я учу людей тому, что сам знаю.
- Ты колдун, звезды указывают тебе путь.
- Они укажут путь любому, кто смотрит на небо не только затем, чтоб подстрелить там птицу.
- У тебя есть тайное знание, старик. Дай мне его, и я не убью тебя.
- У меня нет тайного знания. Тайным знание делает корысть. У меня нет корысти.
- Ты лжешь. У тебя есть тайное знание, ты не приказываешь, но люди слушают тебя. Я ведь не глуп, я заподозрил неладное еще там, на берегу, когда птица села тебе на плечо.
- Она прилетела на корабль еще когда мы плыли сюда. Я лечил ей крыло и прятал от всех, иначе ты первый съел бы ее.
- Ложь! Ты все лжешь! Ты так и не просил у меня награды, теперь я сам предлагаю ее тебе: твоя жизнь вместо тайного знания. Ну!
- Данда вздохнул и тихо засмеялся.
- Я не хотел никакой награды. Я стар и сил у меня немного. Однажды я был уже здесь, мальчишкой. На обратном пути корабль разбился, и спасся я один. Всю жизнь я мечтал еще раз вернуться в эту землю. Я хотел лишь одного: позвать с собой людей, перейти через горы и пустыню и посмотреть, что там, за пустыней...
- Опять ложь! Ты только что это придумал, но я заставляю тебя говорить!

Он ткнул мечом в грудь Данда, и на одежде старика проступило и стало расплываться темное пятно. Хромой Данда молчал. И чем дольше он молчал, тем в большее неистовство приходил Гунайх, осыпая его проклятиями и угрозами. А чем больше неистовствовал Гунайх, тем непоколебимей становилось молчание старика.

Вдруг раздалось хлопанье крыльев, большая белая птица влетела в окно и с яростным клекотом вцепилась когтями в лицо Гунайха. Он взвыл от боли и неожиданности, сорвал с себя птицу, швырнул ее в Данда и в остервенении рубанул мечом раз, другой, еще и еще...

Не помня себя, он рубил и рубил бездыханное уже тело старика, на котором распластала, словно защищая, свои белые крылья птица, и кровь птицы смешивалась с кровью Данда, и белые ее перья запутывались в его белых волосах.

...А под утро дозорные на стенах увидели над морем за холмами зарево. Но это был не восход. Это пытали семь кораблей. И тьма, потревоженная пламенем, становилась все гущею.

## 2. Послушник

«И сойдя с корабля на берег, так говорил Данда:

— Здесь наш дом, — так говорил Данда. — Жить нам здесь и здесь умереть. Прокляты и сгинули в пучине все земли, кроме этой. Нет нам пути отсюда, здесь наш дом. Горе тому, кто дом свой покинет».

*Первая Книга Святого Гауранга*

«— Здесь наш дом, — говорил Данда, но улыбка неверия змеилась по губам отступника Балиа. Тогда Данда, увидев, что нет способа убедить безумца, пошел к кораблям и сжег корабли, и принял смерть от меча предателя, повторяя «здесь наш дом». И кровь его стала кровью снежного белана, и руки его стали крыльями птицы, и поднялся он в заоблачные выси, чтобы охранить эту землю, прекрасный Гунайхорн, и сверху видеть отступников и карать»

*Откровение Святого Вимудхаха.*

И тьма, потревоженная пламенем, становилась все гуще. Джурсен протянул руку и двумя пальцами загасил свечу. Ларгис пробормотала что-то, засыпая, положила ему голову на плечо, ткнулась носом в шею. Дыхание было легким и щекотным. За окном послышался какой-то шум, возня, кто-то взвыл от боли:

— Ах, ты так, падал! Держи его, ребята!

Тотчас раздались еще голоса, хриплые, злые:

— Уйдет ведь, наперерез давай!

— Отступник!

— Туда в переулок, между домами!

— От меня не уйдет, а ты его брать не хотел. Я их сквозь стены вижу!.. Отступник и есть отступник. Чуть руку не отхватил, зараза!

Прогрохотали башмаки по мостовой, где-то в отдалении взвился истошный визг, и все стихло.

Осторожно, чтобы не разбудить Ларгис, Джурсен встал с постели, и быстро оделся, стараясь не шуметь. Из окна тянуло прохладой. Горбами чудовища из легенды чернели на фоне неба крыши домов. Джурсен закрыл окно, скоро на улице будет шумно. Заорут здравицы горластые лавочники из отрядов Содействия, валом повалит празднично разодетый народ, непременно кто-то кого-то попытается тут же, посреди мостовой, уличить в отступничестве, и гвалт поднимется до небес.

Он долго смотрел, прощаясь, на тихонько посапывающую девушку и протянул было руку, чтобы поправить сбившееся одеяло, но тотчас отдернул. Ларгис перевернулась на другой бок, что-то прошептала во сне, и Джурсен, испугавшись, что она проснется, на цыпочках вышел из комнаты, плотно прикрыл за собой дверь и спустился на первый этаж.

Звучно зевая и почесываясь, хозяин уже сидел в засаде, темной нише под лестницей, поджидая забывчивых постояльцев, чтобы напомнить о плате.

— С Днем Очищения! — простуженным голосом приветствовал он Джурсена. — Денск сегодня будет отменный, жаркий, мои кости не обманывают. — Последний раз нас навести, верно? — продолжал хозяин, обрадовавшись возможности поболтать. — А ведь я помню, как вы в первый раз сюда пришли... ну точно, три года назад, в канун Прозрения, верно? Как сейчас помню, худющий, робкий, а я еще тогда смекнул:

большое думаю, будущее у этого парня. Ишь, как глаза сверкают! И ведь прав оказался!

Первый раз Джурсен пришел сюда и встретил Ларгис не в канун Прозрения, но это неважно. Теперь все неважно, все уже позади; Ларгис, годы послушничества, вечно простуженный болтливый хозяин дома свиданий, каморка под самой крышей...

Он отцепил от пояса кошелек, протянул хозяину:

— Не буди се, пусть спит.

Тот бодро выбрался из ниши, схватил кошелек, пересчитал монеты, пересчитал еще раз, шевеля губами, и коротенькие белесые бровки его взлетели на лоб, да так и застыли.

— О-о! Благословенна ваша щедрая рука! — воскликнул он. Я распоряжусь, чтоб не шумели, — он вдруг гадливо хихикнул и подмигнул Джурсену. — Конечно, пусть спит, устала, наверное. Пусть спит, разве мне жалко для т а к о г о человека?!

Он забежал вперед, семена толстенькими ножками в стоптанных туфлях, распахнул перед Джурсеном дверь и, едва сдерживая ликование, сообщил:

— А вчера-то вечером... Не слышали, нет? Ну как же! Шуму было на всю улицу. Вот здесь, за углом, в торговых рядах отступника уличили! Народ у нас в квартале сами знаете какой, люди обстоятельные, серьезные. Отступников этих поганных и в прежние-то времена на дух не переносили, а уж теперь... Когда стражники прибежали, он уже и не шевелился! Сами управились. — Хозяин топнул ногой и выпятил и без того толстую нижнюю губу. — А я так думаю, по-простому: нечего с ними цацкаться. Где уличили, там и кончать надо, на месте. Сверху, конечно, виднее, но народ, он не ошибается, он понимает что к чему. Вот так я думаю, и все наши тоже так думают. А сейчас вот тоже одного по улице гнали...

Джурсен, уже взявшийся за ручку двери, остановился.

— Как же уличили его? — спросил он. — Того, в торговых рядах.

— Так ведь корешками он торговал любительными! — воскликнул хозяин. — Да с покупателем, таким же, видать, мозгляком немощным, в цене не сошелся. Тот его по шее, а корешки-то возьми да и рассыпсы! А тут я как раз с соседом, ну с зеленщиком, вы знаете...

— Ну корешки, и что? — нетерпеливо перебил Джурсен.



— Как что?! — хозяин даже опешил, выжидательно уставился на Джурсена, дивясь его недогадливости. — Корешки-то эти где растут?

— Где?

— В запретных горах они растут, каждому известно! Значит что?

— Что?

— Значит, сам он ходил туда или приятели его. Отступник, значит, предатель!

— Ничего не значит, — сказал Джурсен. — Я слышал, их можно хоть у себя дома в горшке выращивать, надо только знать как. Поспешил ты с соседом.

Хозяин не смутился и возразил с прежней убежденностью:

— Очень вы еще молоды, господин послушник, а я жизнь прожил, хвала святому Данда. Я вот что вам скажу: те, которые делают худое, их за руку поймать можно. А вот те, которые худое думают — тех за руку не поймаешь, они-то и есть самые страшные отступники. Ошиблись, что ж, может и ошиблись. Но лучше десять раз ошибиться, чем одного настоящего отступника упустить. И ведь до чего страшные люди! Бьют их, пытаются, а они все равно! Не пойму я их, господин послушник, и не понимал никогда. Чего им надо? Хорошо нам здесь или не очень, здесь наш дом, здесь живем и жить будем до самой смерти. И дети наши тоже здесь жить будут. Зачем идти куда-то? Не пойму. Это ж не только сделать, но и подумать страшно — идти в Запретные горы; из дома; насовсем. Они потому и Запретные, что нельзя. Ребенок и тот поймет — н е л ь з я. А эти... Одно слово — отступники. Ничего для них святого. Сказано же в Первой заповеди...

Смрадное дыхание хозяина било в нос. Джурсен отодвинулся и спросил:

— Значит, страшно даже подумать?

— Еще как страшно! — с воодушевлением воскликнул хозяин. — Сил нет, до чего страшно. Сказано же у святого Гауранга: «Здесь наш дом»...

Джурсен одобрительно покивал.

— И самые опасные, это не те, которые делают, а те, которые только хотят сделать? — задумчиво проговорил он. — Ну, что ж, спасибо за урок.

— Мы что, у нас умишко хоть и маленький, а...

— Честному, значит гражданину, вот тебе, например, даже подумать страшно, — все так же медленно говорил Джурсен и вдруг отступил на шаг, ткнул пальцем хозяину в грудь и рявкнул:

— А откуда знаешь, что страшно? Значит, думал, раз знаешь? Ну! Хоть раз думал? Хоть раз думал? Хоть один-единственный раз, а? Признавайся! Неужто ни разу не приходила мыслишка собраться эдак поутру и махнуть в горы, а уж там... или парус поставить на лодку, не обыкновенный, в десять локтей, а побольше, и в сторону восхода, а?

Лицо хозяина разом посерело, толстые щеки обвисли и задрожали, он прижал волосатые руки к груди и просипел:

— Вы не подумайте чего, господин послушник. Да разве ж я похож... я и налоги всегда исправно... а чтоб такое! Да вы ж меня столько лет знаете, господин послушник, ведь знаете, да, знаете? Приди мне такая мысль поганая, да я б сам себя первый, чтоб, значит других не заразить... Вот думаю в отряд Содо́йствия записаться... А сболтнул лишнее, так вы ж понимаете... Разве ж похож я...

Джурсену стало вдруг отчаянно скучно. И еще противно, будто в паутину залез ссрую, липкую, мерзкую.

— Не похож, это верно, — сказал он. — Совсем не похож.

— Так ведь и я о том же! — обрадовался хозяин. — Я что, я как все, плечом к плечу с соседями, все как один, в одном, значит строю. А если с отступником этим поспешили, так исключительно в силу патриотического чувства, из лучших побуждений, на благо общему дому и светлому делу Очищения.

Хозяин лепетал что-то еще, чрезвычайно лояльное, но Джурсен его уже не слушал. Не тот случай, чтобы слушать. Не тот человек, который осмелится сказать что-нибудь такое, чего уже не сказали другие. Тут все гладко и скользко. Тут проверенный и надежный житейский опыт: делай все что можно, но для себя и при этом будь таким же, как все, не впереди и не сзади, точнехонько посередине, плечом к плечу с соседями, такими же как он, в высшей степени благонадежными. Трусливые и ни на что не способные по отдельности, все вместе они являли собой грозное безликое образование — массу. Плечом к плечу ходили они по Городу с ломиками несколько лет назад и ломали стены

и перегородки, потому как усвоили сказанное: «Тот, кто не на виду у всех, тот таится. Тот, кто таится, тот замыслил худое, тот враг». А раз так — какие могут быть перегородки?! Долой их! А что обрушилось множество зданий, так что ж, за усердие не накажешь. Круши, ребята! Потом разберемся! А потом в самом деле разобрались, но не они, другие; они лишь слышали и усвоили: «Ошибка! Прекратить! Не так поняты были Священные Книги! Исправить!» И не сгорели от стыда, проморгались, почесали в затылках, огляделись по сторонам, бойко сменили ломики на носилки и мастерски, чтобы все вместе, плечом к плечу исправить, восстановить, сделать лучше, чем было и при этом не забыть про себя. И восстановили, и сделали лучше, и исправили. За исключением того, что безнадежно испортили. А сейчас вот в едином порыве горят готовностью способствовать Очищению. Метлой и дубиной! Навеки! Тех, кто по углам! Без пощады!

И с какой стороны ни глянь — нет людей исполнительней и надежней. Образец, надежда и опора. Золотая середина.

— Надежный ты человек, — воскликнул хозяин. — Нам иначе никак нельзя. Мы кто — мы люди маленькис, нам сомневаться и не положено, так с именем святых на устах и живем. А на праздник я обязательно приду, удачного вам Посвящения, господин послушник, да хранит вас святой Данда! — полетело в спину Джурсену, но стоило ему отойти подальше, как подобострастная улыбка сползла с лица хозяина, щеки подобрались, бровки вернулись на свое обычное место, и он сплюнул на землю, но тут же опасливо оглядевшись, затер плевков башмаком.

— Рассвет скоро! — загрохотал в доме его голос. — Сколько спать можно, так и Очищение prospite!

Джурсен поешился от предутренней прохлады, плотнее запахнул плащ и по узкой мощеной улочке направился в сторону возвышающейся над Городом громады Цитадели. Несмотря на ранний час, на улице было оживленно. То и дело на пути попадались деловитые крепкие молодцы из отрядов Содействия с повязками на рукавах — скрещенные метлы и дубинка в белом круге, — но разглядев в свете факелов плащ послушника, скороговоркой бормотали приветствие и спешили ретироваться.

Джурсен беспрепятственно миновал Южные ворота и пересек

внутренний дворик. Стражник у входа в башню святого Гауранга мельком взглянул на протянутый жетон с выгравированной на нем птицей и прогудел:

— Удачного Посвящения, господин послушник. Проходите.

Джурсен нащупал в кармане монету, последнюю, отдал ее стражнику и стал подниматься по крутым ступенькам лестницы, спиралью выходящей внутри башни.

Подъем был долгим. Чем выше Джурсен поднимался, тем большее охватывало его волнение. Так бывало с ним всегда, но сегодня особенно. Ведь не скоро, очень не скоро сможет он повторить этот путь. Да и едва ли потом хватит на это решимости.

Он поспел вовремя. Запыхавшись, с сильно бьющимся сердцем он перепрыгнул через последние ступеньки, и ветер тугой волной ударил его в лицо, разметал волосы, крыльями захлопали за спиной полы плаща.

Тут, на верхней площадке башни святого Гауранга, всегда был ветер. Но это был совсем не тот ветер, что внизу, задыхающийся в узких ущельях улочек. Это был чистый свободный сильный ветер, напоенный ароматами трав и цветов, родившийся на снежных вершинах Запретных гор, или же густой и солоноватой на вкус, пробуждающий в груди непонятную тревогу и ожидание — морской.

Юноша едва успел отдышаться, как глубокий низкий звук, родившись в недрах Цитадели, медленно поплыл над городом, возвещая о начале нового дня, дня Очищения. Звук плыл и плыл над дворцами и лачугами, пятачками площадей, торговыми рядами, мастерскими ремесленников, над узкой песчаной полосой, где у самой воды в свете факелов копошились плотники, заканчивая последние приготовления к торжественной церемонии Посвящения и обряду Сожжения Кораблей, над крохотными лодчонками вышедших на утренний лов рыбаков, и люди, заслышав этот звук, поднимали головы и долго прислушивались, пока он не затихал вдали.

Повернувшись лицом к морю, Джурсен ждал. И вот небо в той стороне порозовело, отделилось от моря, между небом и морем показался красшес солнечного диска, и к берегу побежала из невообразимой дали трепетная пурпурная дорожка. Тотчас вспыхнула и засияла огромная снежно-белая птица на шпите Цитадели, но во сто крат ярче, так что больно было глазам,

чисто и пронзительно засверкали вершины Запретных гор на горизонте.

Джурсен закрыл глаза, подставил лицо ветру и полетел. Тело его стало невесомым, из груди рвался ликующе-победный крик, и хлопали, хлопали, хлопали за спиной крылья. Он парил над миром, поднимаясь все выше и выше, и где-то далеко внизу остались узкие улочки с запутавшимся в них суетливым зловонным ветром, склочные торговые ряды, пропахшие обманом и рыбой, шаги стражников под утренним окном, а впереди были снежные вершины, и за ними...

Но вот снова раздался глубокий низкий звук из Цитадели, и полет прервался. Над головой было небо, но ноги в казенных башмаках прочно опирались на дощатый настил. Далеко впереди были горы, но между ними и Джурсеном лежал Город, в котором ему жить. А за спиной хлопали не крылья — просто разлетевшиеся полы плаща послушника.

Джурсен вдруг отчетливо понял это, и мечта умерла. Он понял, что никогда больше не сможет полететь, и страшная пустота ворвалась в его душу, ноги подкосились, и он медленно, как старик, держась за кованный поручень, стал спускаться.

И еще он понял, что никогда больше не позволит себе подняться на верхнюю площадку святого Гауранга и встретить восход солнца, пережить волшебный миг разделения тьмы на море и небо и увидеть, как первые лучи солнца зажгут белым пламенем вершины Запретных гор.

Это было прощание.

Больше прощаться было не с кем и не с чем.

— Святой Данда! — взмолился юноша. — Помоги мне! Дай мне силы Гунайха и стойкости Гауранга, дай мне мудрость Вимудхаха, помоги мне справиться с искушением и стать таким, как все. Помоги мне!

Стыд, тоска и отчаяние жгли его сердце.

Он не такой, как все. Годы послушничества пропали даром. Он преуспел и отточил ум своим учением, которого не смогла принять душа, и ум стал холоден, а в душе поселилась пустота.

Он не такой, как все. Мудрость священных книг тщетно боролась в нем с язвой тягчайшего из пороков — жадой странствий.

Он не такой, как все.

Знал бы адепт-наставник, какие мысли посещают лучшего из его учеников, когда он в глубокой задумчивости застывает над священными текстами. Знал бы он, сколько раз мысленно Джурсен уходил к заснеженным вершинам Запретных гор, пересекал под палящим солнцем Пустыню или поднимал огромный парус на корабле!

Он крепко хранил свою тайну, свой позор и предательство.

Ларгис, милая добрая Ларгис — единственный человек на свете, которому он признался в гложущей его тоске.

— Бывает, часто бывает, что я чувствую... не знаю, как это назвать, — сказал он как-то ночью. — Я задыхаюсь. Мне душно здесь, не хватает воздуха, давит в груди...

— Открыть окно? — сонно пробормотала Ларгис.

—...больше всего на свете мне хочется идти и идти с тобой рядом, и чтобы далеко-далеко позади остались стены, Цитадель, Город... Так далеко, что их и не видно вовсе, а мы все идем и идем...

— Куда?

— Не знаю, не важно куда, просто идем. Отсюда. За горы, за море, куда-нибудь. Я не знаю куда, но словно какая-то сила тянет меня, зовет, и я не хочу и не могу ей противиться.

Он говорил и говорил. Раз начав, он уже не мог остановиться, Ларгис молчала, и он был благодарен ей за молчание. Она молчала, и он думал, что говорит за обоих и больше не был одинок. Ларгис молчала, но повернувшись к ней, Джурсен тотчас пожалел о сказанном. Зажимая себе рот ладонью, девушка смотрела на него расширившимися от ужаса глазами.

— Джурсен, — прошептала она. — Джурсен, милый, — и вдруг сорвалась на крик. — Не смей! Слышишь, не смей! — Она обвила его шею руками, привлекла к себе, словно желая укрыть от опасности, и быстро заговорила:

— Ты горячий, очень горячий, у тебя жар, лихорадка, ты болен, Джурсен... Ну не молчи, скажи, что ты болен! Болен! Болен! Болен! — как заклинание повторяла она, и с каждым словом возникавшая между ними стена становилась все выше и прочнее. Слово за словом, кирпич за кирпичом, растет кладка, прочнится. И нет больше силы, способной ее разрушить. И желания тоже нет.

Чем чаще наваливались на Джурсена приступы необъяснимой тоски, тем с большим усердием отдавался он изучению священных текстов. Страстный Гауранга, впитавший мудрость хромого Данда, рассудительный Вимудхах, прозревший душой лишь на исходе жизни, они всегда были рядом, сходили со страниц книг, чтобы научить и убедить безумца. Джурсен с ними беседовал, не соглашался, спорил, но — единственный себе судья — не мог признать победы ни за одной из сторон.

И тогда он сам вступил с собой в поединок, выбрав в качестве темы для итогового трактата Первую Заповедь Данда: «Здесь наш дом».

Здесь наш дом, — повторял и повторял про себя Джурсен. — Здесь наш дом. Умрем все, но не уйдем из домов.

И тут же из самых темных тайников мысли выползала крамольнейшая из всех — почему? Почему не уйдем? Что нас держит?

Джурсен гнал ее от себя.

Умрем, но не уйдем, вот где соль! Лучше смерть, чем отступничество, лучше смерть, чем предательство. Лучше смерть.

Но многие ли покончили с собой, не чувствуя сил сопротивляться искушению? Джурсен таких не знал. Он знал другое: человек изначально слаб, подвержен страстям и исполнен к себе жалости, рождающей самоомнение. Лишь вера и страх способны укрепить его. Больше страх, чем вера. И еще убежденность в невозможности свершить задуманное. И если это верно, а это верно...

Святой Данда все знал о людях, он сжег корабли, когда кончились слова убеждения, и люди остались, не ушли. Он сжег корабли, но не убил, а лишь пригасил искушение уйти из дома.

Святые делают не все, они указывают путь, по которому идти другим.

Джурсен, как всегда во время раздумий, метался из угла в угол по своей тесной каморке и терсбил двумя пальцами мочку уха.

Разгадка где-то совсем рядом. Сжечь корабли, чтобы не было искушения уйти из дома. Устранить средство достижения отступнической цели...

В свестильнике на столе кончилось масло, он несколько раз вспыхнул ярко и погас. Некоторое время Джурсен не замечал

обступившей его темноты, пока ткнувшись со всего маху в стену, не зашипел от боли, потирая ушибленный лоб.

Стена. Перекрывающая единственный в горах проход стена, вот что удержит, вот что спасает от искушения нестойких.

Долгим было молчание адепта-наставника, когда Джурсен поделился с ним своими мыслями, и лишь спустя несколько дней, посоветовавшись с адсптами-хранителями Цитадели Данда, он одобрил выбор темы. Джурсен написал быстро, за несколько лихорадочно напряженных бессонных дней и ночей выплеснул на бумагу открывшуюся ему великую тайну, заключенную в словах святого Данда, но перечитав написанное лишь единожды, боялся взять трактат в руки еще раз, так велик был его страх, стыд и отчаяние.

Сжечь свои корабли, выстроить стену для себя он так и не смог.

Отступник, а Джурсен только что доказал это, завершал позачьи, забился в руках стражников, поджал ноги. Так его и вынесли из дома. Джурсен с адептом-наставником вышли следом. Перед домом уже собралась толпа. Не будь стражников, отступника растерзали бы тут же. Появление же Джурсена и наставника было встречено оглушительным ревом, здравицами и ликующими воплями. Стражникам приходилось щитами продавливать дорогу в плотной массе беснующих людей.

Коротко обернувшись, Джурсен увидел в конце улицы удаляющихся стражников и отступника между ними. Ноги он уже не поджимал, они бессильно волочились по земле. Потерял сознание или умер от страха, такое тоже случается.

Уличив преступника, Джурсен больше не испытывал к нему никаких чувств, разве что легкое презрение победителя к противнику, не сумевшему оказать достойное сопротивление. Слишком быстро тот сдался. Это был уже второй за сегодняшний день. Остался еще один.

Третий жил недалеско от центральной площади, в одном из похожих друг на друга как две капли воды переулка. Район этот Джурсен отлично знал. Еще мальчишкой он бегал сюда со стопкой бумаги и мешочком угля на уроки к художнику. С тех пор прошло много лет, но он не заметил в громоздящихся друг на друга домах никаких изменений, разве что появились на



каждом углу голубые ящики с нарисованным на них глазом и прорезью в зрачке, куда любой законопослушный горожанин мог опустить сообщение об отступниках, да пестрели стены вывешенными по случаю большого праздника символами Очищения — скрещенными метлой и дубинкой, — и призывами «Очистим дом свой от отступников!», «Очищение — праздник сердца!» и «Бдительность каждого — залог успеха общего дела».

Персулок был полон празднично разодетыми горожанами. Хозяева гостевых домов, лавок и харчевен стояли у распахнутых настежь дверей своих заведений, громко переговаривались через дорогу. При приближении Джурсена, наставника и стражи они громко поздравляли их с праздником и наперебой приглашали войти. Толпящиеся на углах крепкие ребята с повязками на рукавах предлагали свою помощь. Повсюду царило воодушевление и всеобщий подъем.

По закону Джурсен, исполняющий функции дознателя, ничего не должен был знать о подозреваемом, кроме адреса. И сейчас он шел и гадал, кем окажется этот третий — ремесленником, портным, шьющим паруса или ювелиром. Впрочем, какая разница? Теперь он просто подозреваемый и подлежит дознанию.

Тяжелые башмаки стражников весело грохали по булыжной мостовой, им вторил короткий сухой стук черного посоха наставника. В развсвояющихся белых одеждах с вытканной золотом на груди и спине птице с распростертыми крыльями, он молча шел рядом с Джурсеном, сильно припадая на левую ногу. Лицо его было бесстрастным. Время от времени искоса поглядывая на него, Джурсен так и не мог понять, как адепт-наставник оценивает его действия. Наверное, хорошо, потому что первых двух подозреваемых Джурсен уличил в считанные минуты. Конечно, хорошо! Иначе и быть не может. Он, Джурсен, старался.

Одст Джурсен был точно так же, как наставник, только не было ему еще нужды в посохе, хотя он уже заказан у лучших мастеров, и Джурсен уже пробовал ходить по своей келье, припадая на левую ногу. И не было птицы на груди. Этот символ Джурсен сможет носить только с завтрашнего дня, после посвящения. При условии, что он верно уличит и этого, третьего. Или оправдает, что случается редко, но все-таки случается. Вершинной мастерства дознателя считается, если подозреваемый сам

сознается в отступничестве, но это случается еще реже, чем оправдание. Даже перед лицом самых неопровержимых фактов каждый пытается отрицать свою вину до конца. В силах своих Джурсен был уверен, и словно бы в подтверждение вполголоса заговорили стражники за спиной:

— Наш-то, наш, а? Как он их!

— Даром что на вид совсем юнец, а смотри ж ты... Так к стенке припер, что и не пикнул. Неистовый!

— Далеко пойдет, помяни мое слово. Большим человеком станет, храни его святой Данда!

— Здесь, — сказал Джурсен. Он остановился перед дверью и несколько раз сильно стукнул.

— Заперлись, — удивился один из стражников. — Боятся. Честному человеку чего бояться?

— У честных двери нараспашку, честные у порогов стоят, в дом приглашают, — вторил ему другой. — А эти заперлись. Сразу видно...

Отворила молодая красивая женщина. Тень страха мелькнула в ее глазах, когда она поняла, что за гости посетили дом. А может быть, Джурсену это всего лишь показалось.

Женщина радушно улыбнулась.

— С Днем Очищения, — нараспев произнесла она. — Входите же!

— Пусть очищение посетит этот дом, — произнес Джурсен формулу приветствия дознателя. Чем-то эта молодая женщина напомнила ему Ларгис. Глазами? Мягким голосом? Улыбкой?

— Кто там? Кто пришел, Алита? — послышалось из глубины коридора и появился высокий черноволосый мужчина в заляпанной красками блузе. Он мельком взглянул на гостей и склонился к женщине.

— Алита, сходи к соседям, побудь пока у них, — сказал он. — Я за тобой зайду. Ну, иди же.

Он ласково обнял ее за плечи, направляя к выходу.

Когда женщина вышла, и двое стражников встали у двери, чтобы не впускать никого до окончания дознания, художник повернулся к Джурсену и наставнику.

— Прошу, — сказал он.

В мастерской, просторной светлой комнате с окном во всю стену, выходящим на крыши домов, вдоль стен стояли подрам-

ники, громоздились какие-то рулоны, коробки, в воздухе витала сложная смесь запахов краски и почему-то моря.

Адепт-наставник, которому в предстоящей процедуре дознания отводилась роль наблюдателя, скрылся за стоящей в дальнем конце мастерской ширмой, стукнул об пол его посох, и наступила тишина.

Художник, широко расставив ноги и уперев руки в бока, остановился посреди мастерской и принялся разглядывать ее так, словно видел впервые. Он отодвинул зачем-то в сторону мольберт, потом принялся старательно вытирать тряпкой и без того чистые руки.

Джурсен ему не мешал и не обращал на него, казалось, ни малейшего внимания. Это был испытанный прием. Художник виновен, Джурсен уже почти наверняка знал это, знал это и сам художник. Пусть волнуется. Хотя, конечно, за эти несколько минут он, наоборот, может успокоиться, собраться с мыслями и подготовить аргументы в свою защиту. Пусть так. Джурсен не боится схватки. Куда приятнее иметь дело с умным человеком, чем с ошалевшим от ужаса и ничего не соображающим животным.

Но в чем его вина?

Джурсен медленно пошел вдоль одной из стен, одну за другой поворачивал и разглядывал картины. Тут были портреты сановников и адептов, поясные и в рост, законченные и едва намеченные углем; несколько городских зарисовок, сцены из священных книг, «Сошествие святого Данда с корабля», «Дарование святого Гауранга», «Гнев Гунайха».

Это не то. Не здесь нужно искать. Джурсен смотрел, и им все больше и больше овладевало недоумение: где умысел? Это были работы ради денег. И только. Профессиональные, талантливые, Джурсен в этом разбирался, но — всего лишь ради денег.

Джурсен почувствовал, что азарт охотника, охвативший его вначале, понемногу исчезает.

Это плохо, подумал он, молчание слишком затягивается. Нужна зацепка. Но где ее искать?

Он подошел к следующей стене и, повернув к себе один из холстов, сначала ничего не мог разобрать. Просто темнота. Но постепенно детали стали вырисовываться, то, чего не видел глаз, дорисовывало воображение. Темное распахнутое окно, смутный силуэт человека подле него, горбы крыш за окном, в углу — край смятой постели.

Картина не была закончена, но Джурсен уже увидел, Ведь это его, Джурсена, комната в доме свиданий, его окно, его постель. Это он, Джурсен, стоит перед окном, а там за крышами, похожими на горбы чудовища, невидимые в темноте — Запретные горы.

Он повернул еще картину, еще одну, еще и еще в поисках подтверждения? опровержения?

Сидящая на постели девушка, руками она зажимает себе рот. В глазах, непропорционально огромных на бледном узком лице — ужас и крик. Что она увидела там, за границей картины?

Ларгис.

Ларгис, услышавшая его, Джурсен, признание, его тайну, его тоску и смятение.

Запрокинутое к небу лицо рыбака. Восход солнца над морем. Не восход, а лишь предощущение восхода, тот миг, когда море и небо еще едины, еще не вспыхнули вершины гор, еще не поплыл над миром гул колокола из Цитадели.

— Как ты назвал ее? — тихо спросил Джурсен.

— «Предощущение», — так же тихо отозвался художник.

Джурсен почувствовал вдруг к нему ненависть и жалость одновременно. Он вглядывался в лицо художника и угадывал в нем себя. Такого, каким он мог бы стать, если бы мальчишкой, вернувшись однажды с занятий у художника, не обнаружил на месте дома развалины. Перед развалинами еще стояли плечом к плечу и обалдело мотали головами соседи с ломиками.

Этим художником мог бы быть он сам. Эта мастерская или точно такая же могла принадлежать ему, и этой женщиной могла бы быть Ларгис. Это могли быть его, Джурсена, картины. Он написал бы их!

— Твои родители живы? — спросил он.

— Погибли под развалинами во время уничтожения стен и перегородок, — сказал художник. — Уничтожили лишнее, кровля не выдержала и рухнула. Я был на занятиях, а когда вернулся...

Джурсен вздрогнул, как от удара, и расхохотался, но тут же оборвал смех, умолк и молчал долго, а когда заговорил, голос его был спокоен и негромок.

— Ты пришел и увидел развалины, и рядом стояли соседи с ломиками, а другие соседи копошились среди руин, разбирая утварь, и кто-то сказал тебе, что твоих уже увезли. Ты так их и

не нашел. Первую ночь ты провел там же, на развалинах, а потом ночевал в других местах, где придется. Лучше всего на пристани, у складов, там всегда можно было поживиться рыбой и испечь ее в золе. Еще хорошо в торговых рядах, но там у одноглазого сторожа была длинная плетка с колючкой на конце... Вас таких было много, были постарше, они умели воровать и не попадаться, и были совсем маленькие, они ничего не умели. Потом они все куда-то подевались. У тебя оставалась стопка бумаги и уголь, ты рисовал торговцев, и они тебя кормили. Но по вечерам, если рядом был свет, ты рисовал отца и мать, и каждый раз у них были другие лица... А что было потом?

— Откуда ты знаешь? — ошеломленно пробормотал художник.  
— Я никому не рассказывал... Потом меня взял к себе художник, к которому я ходил.

А я попал после облавы в приют, — чуть не вырвалось у Джурсена, но вместо этого он сказал:

— Бывают дни, когда ты не можешь найти себе места, все валится из рук, все раздражает, солнце становится тусклым, а листва на деревьях — серой, друзья кажутся глупыми и скучными, работа — бездарной мазней, и в душу вползает холодный густой туман. Но еще хуже — ночи. Ты просыпаешься и уже не можешь заснуть до утра. Ты распахиваешь окно и смотришь в темноту, туда, где — ты знаешь — громоздятся на горизонте Запретные горы. И больше всего на свете тебе хочется уйти из Города, просто взять и уйти, и идти долго-долго, в горы, перейти через них и опять идти, не останавливаясь. А иногда тебе грезится наяву, что летаешь и ветер в лицо. Ты летаешь над Городом, горами...

— ...над морем, — прошептал художник.

— ...и дышится легко, полной грудью, так легко, как никогда не дышится наяву.

— ...но наваждение проходит, и становится совсем плохо.

— Ты никогда никому этого не рассказывал, только однажды ночью. Жене. А она..

Художник вдруг осел на пол, будто ему подрубили ноги.

— Не может быть! — прошептал он. — Алита? Не может быть. Но зачем?! Неужели... — Он обхватил голову обеими руками и застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. — Она не хотела, она боялась, думала, что я болен, и верила, что это

пройдет... Теперь не верит, — бормотал он. — Понимаю, теперь я все понимаю...

Джурсен словно очнулся от забытья и ошеломленно смотрел на художника. А тот вдруг вскочил на ноги, лицо его исказилось, рот дергался.

— Да! Да! Да! — закричал он. — Она все верно рассказала, все так! Да, я думал об этом, всегда думал! Да, я уходил из Города, дважды уходил и дважды возвращался, потому что боялся, не мог уйти насовсем. От нее не мог уйти. Я предлагал ей уйти вместе, но она... она уже согласилась, а теперь вот, значит, как все обернула...

Он хотел сказать что-то еще, но из-за ширмы появился адепт-наставник и, стукнув посохом об пол, уронил единственное слово:

— Признание.

Художника увели. Зеваки перед домом стали расходиться. Последними из дома вышли Джурсен и адепт-наставник. Чувствуя страшную слабость во всем теле, Джурсен прислонился к стене. Взгляд его скользнул по дому напротив, и тотчас холодная испарина покрыла его лоб.

Дом, в который он должен был войти с дознанием, размещался на другой стороне улицы. У распахнутой настежь двери стоял улыбающийся мужчина.

Джурсен перепутал номер.

Он горько усмехнулся и пробормотал про себя:

— Все равно. Все виновны.

Он медленно пошел прочь, и благонадежные горожане, стоя у распахнутых дверей своих домов, с энтузиазмом приветствовали его.

### 3. Разрушитель.

«Результаты проведенного адептами-медиками исследования убедительно доказывают, что причиной человеческих заболеваний и участвовавших случаев падежа скота в предгорных областях является ветер, беспрепятственно проникающий в

долину через ущелье. В этой связи Совет Цитадели постановил возвести Стену, перегораживающую ущелье и закрывающую доступ в долину болезнетворным воздушным массам».

*Газета «Голос Данда»,  
официальный орган Цитадели.*

«Приказываю: отрядить... человек из числа подозреваемых в отступничестве на строительство защитных сооружений».

*Из секретного приказа Верховного  
Хранителя Цитадели Святого Данда.*

Закрепить брусок взрывчатки на бронированной двери было бы делом пары минут, не спеши так лейтенант и додумайся захватить с собой кусок клейкой ленты или веревку. Но ни того, ни другого он не захватил, и чтобы примотать взрывчатку к ручке, пришлось пожертвовать ремешком от кобуры.

Он немного перестарался: взрывом разворотило и дверь и изрядный кусок стены впридачу, но это было уже все равно. Не рассеялось еще облако кирпичной пыли, а капсула подъемника уже возносила его по вырубленному в толще скалы тоннелю на вершину горы, в бетонную наשלёпку на ее макушке, замаскированную так, что она была неразличима на фоне окружающих ее ледников.

И вот теперь можно было не спешить, теперь можно было впервые в жизни развалиться в обтянутом настоящей кожей глубоком кресле перед столиком с аппаратом экстренной связи (раньше ему приходилось стоять за этим креслом навытяжку и смотреть на мясистые, налитые кровью, или бледные с коричневыми старческими пятнами, или заросшие короткими жесткими волосами, но всегда одинаково надменные затылки), можно даже положить ноги на этот столик и снять трубку аппарата.

Лейтенант не стал отказывать себе в этом удовольствии.

Аппарат молчал, как молчали целый день и все другие аппараты на заставе. Может быть, они молчали дольше, чем день, лейтенант этого не знал.

Молчание это могла означать все, что угодно. Оно могло

означать, например, скоропостижную поломку всех аппаратов, аппаратную эпидемию, или конец света, или еще что-нибудь, уставом не предусмотренное.

Все-таки больше это походило на конец света.

За эту неделю, что он провел на гауптвахте, в привычном, надежном, крепко сколоченном мире что-то сломалось, и вот теперь он разваливается на куски. Не жалко.

Капсула тихо раскачивалась из стороны в сторону, изредка скрипела лебедка. Лейтенант барабанил пальцами по подлокотнику кресла и время от времени снимал трубку с аппарата, слушал. Не было даже гудка.

Зачем, собственно, я туда прусь? — подумал лейтенант. Похоже, что мир разваливается ко всем чертям, так не все ли равно, как именно это происходит?

А ведь не все равно, — сам себе возразил он. — Еще как не все равно. Это ты, приятель, просто храбришься, грудь выпячиваешь и мужественно играешь желваками, как курсант перед дочкой хозяина мясной лавки. Это ты брось, никто не видит твоего мужественного на-все-наплевательства. Если начальство и солдаты покинули заставу, значит, мир в самом деле разваливается, а тебе до смерти страшно и до смерти хочется знать, кто это нашел то самое место, куда нужно было ткнуть этот мир, чтобы он развалился.

Капсула в последний раз сильно качнулась, остановилась. Лейтенант вскочил с кресла, опрокинув столик с аппаратом. Створки разъехались в стороны, он на секунду зажмурился от хлынувшего из коридора яркого света и нарочито медленным шагом направился в перископную. Но ноги сами сорвались на бег. Дверь в перископную тоже была заперта. Те, кто уходил, рассчитывали вернуться. Лейтенант разрядил в замок почти всю обойму пистолета, а потом высадил дверь пинком.

Дальнозоры, конечно же, были повернуты в сторону Пустыни, ничем другим приезжающие сюда высокие чины не интересовались. Лейтенант долго чертыхался, обдирая пальцы о поворотный механизм, пока в окулярах не показался затянутый пеленой дыма, сквозь которую то тут, то там прорывались языки пламени, Город.

Пылали дома, длинные пятиэтажные казармы высшего лица, грома дымящихся развалин осталась на месте торговых рядов.



Город горел. Сломанным зубом возвышалась над ним закопченная, лишившаяся шпиля и птицы на нем громада Цитадели. Лейтенант увидел, как храм Джурсена Неистового покачнулся, вспухли его стены, накренились медленно, и вдруг все исчезло беззвучно в облаке пыли.

Он отшатнулся от окуляров и хрипло рассмеялся.

— Вот и все, — сквозь смех, который больше походил на рыдание, выдавил он. — Как это просто оказалось: хлоп! и все. Хлоп! и все, — повторил он. — Хлоп!..

Он не смог заставить себя взглянуть в окуляры еще раз. Руки дрожали, в горле саднило, как будто туда попала кирпичная пыль разрушающегося Города. Он подошел к стене и наугад раскрыл один из шкафчиков. После запретного зрелища Пустыни высоких гостей обычно мучила жажда. Наверняка что-нибудь осталось.

Он нашел то, что искал, и через несколько минут был в состоянии смотреть на пылающий Город, не раздражаясь при этом истерическим смехом. Теперь он смотрел как профессионал, пытаясь по последствиям аварии установить причины ее вызвавшие.

Горели кварталы, отделенные друг от друга улицами и площадями, стоящие слишком далеко друг от друга, чтобы огонь мог перекинуться. Значит, пожар не распространялся из какого-то одного очага, все загорелось одновременно. Значит, случайность исключается. Особо сильных разрушений нет, заложенные в фундамент каждого здания фугасы не сработали, иначе смотреть было бы не на что. Значит, сигнал к началу этого спектакля подан был не из Цитадели. И эта возможность отпадает.

Что же остается?

А остается вот что: подожженный одновременно с разных концов Город, и толстобрюхие из Цитадели ни при чем...

Бунт? Но тогда...

Дом поджигают, когда хотят уйти из него навсегда...

Ну надо же было в такой момент угодить на гауптвахту!

Все равно что в момент посещения госпиталя супругами высоких особ и обязательной при таких посещениях раздачей подарков оказаться на процедурах в клистирной.

Ну нет, он своего не упустит.

Ночь он провел в перископной. Размышляя над своей ролью в этом неожиданно для него случившемся спектакле, вычерчивал схемы, делал расчеты мощности зарядов и как всегда, когда решение принято и остается лишь выполнить его, немusыкальнo что-то напевал вполголоса. Изредка отвлекаясь от работы, он заглядывал в окуляры. С гор спустился туман, и Город словно был накрыт тусклым с блекло-розовыми сполохами куполом.

Лейтенант знал толк в пожарах. Этот был даже красив.

На заставу он вернулся утром и сразу же принялся за работу. Стену, запирающую вход в ущелье, он видел тысячи и тысячи раз, но только теперь взглянул на нее глазами профессионала. Крепкое сооружение. Не на годы строили — навсегда. Но, со Стеной он разберется потом. Сначала — доты.

Не выпуская из рук прихваченной наверху бутылки, лейтенант один за другим обошел все двенадцать дотов, прикрывающих подступы к Стене, проверил заряжены ли огнеметы. Огнеметы, как и всегда, были заряжены, автоматика работала, и не отключи он предварительно все на центральном пульте управления...

Однажды ему довелось увидеть, как обалдевшая после посещения перископной компания высоких гостей с девочками из хореографического, среди которых была и она...

Лейтенант помотал головой и отхлебнул из бутылки. Но это не помогло.

...Он мог их тогда остановить, мог крикнуть, даже мог успеть добежать до заставы и щелкнуть парой тумблеров. Но ничего не сделал. Просто стоял и смотрел, как она позволяет толстобрюхому адепту-хранителю тискать себя, стоял и слушал ее смех, а потом услышал ровное гудение сервомоторов, и в следующий миг там, на бетонной площадке, где только что были люди, корчились с воплями пылающие марионетки. Она не успела даже крикнуть.

Так ему хотелось думать: не успела крикнуть, не успела почувствовать прикосновение волны огня.

И еще он думал: знала ли она, что он служит именно на этой заставе?

Горячую смесь из баков лейтенант сливал прямо на бетонный пол, а локальные пульта управления крушил подвернувшимся под руку металлическим прутом.

Он сам себе удивлялся: не было ни усталости, ни удовлетворения от вида учиненного им разгрома, ничего не было. Он

действовал как автомат. И когда с последним дотом было покончено, он, как автомат, отправился в офицерскую столовую, переправил в себя две банки консервов, не ощущая вкуса, а потом пошел к складу, разыскал тележку и принялся перевозить ящики со взрывчаткой и детонаторами к Стене, старательно обходя каждый раз едва заметное на бетоне темное пятно.

Он возил ящики, пока не стемнело, а потом, прихватив с собой бутылку, надне которой еще что-то плескалось, устроился во дворе заставы перед бочкой с водой и стал ждать рассвета, чтобы продолжить работу.

Так он и сидел на жесткой скамйке перед бочкой с водой час за часом, курил и изредка прихлебывал из бутылки. Мыслей не было, он просто ждал, когда ночь, досадная помеха, пройдет, и он сделает то, что задумал.

Время от времени на склонах гор, оттуда, где проходила заградительная полоса, раздавались сухие очереди и хлопки взрывов, и тогда лейтенант досадливо морщился и бормотал вполголоса:

— Идиоты... Святой Данда, какие же идиоты! Ну куда, куда они прутся?

Чем темнее становилось вокруг, тем чаще раздавались на склонах гор очереди и разрывы, кратко полыхали над деревьями зарницы.

— Вот только пожара мне здесь не хватало, — бормотал лейтенант.

Под утро он все-таки не выдержал. Едва рассвело, запасся на складе мотком веревки и ножницами для колючей проволоки, пересек непривычно пустынную и тихую территорию заставы и по едва заметной узенькой тропинке пошел вдоль заградительной полосы.

Он шел и думал, что с тех пор, как голод заставил его взломать решетку и выбраться с гауптвахты (ему почему-то перестали приносить пищу, и на стук в дверь никто не отзывался), он только и делает то, что нормальный человек делать не должен. Это же просто безумие. — после второй бессонной ночи тащиться на заградительную полосу!

Собственно, никакой полосы и не было. Были замаскированные на скалах, деревьях и кустах датчики, и были пулеметы на поворачивающихся сервомоторами станинах, а в особо опасных местах были огнеметы. И еще были всеерные мины, штука

паршивая, потому что насмерть не убьет, но кровью истечешь, и просто с незапамятных времен оставшиеся ямы с шатким настилом и острыми кольями на дне.

С ямами и минами лейтенант ничего поделывать не мог, а вот с автоматикой мог. Этим он и собирался заняться.

Он не раз бывал с обходами на этом участке полосы и знал его как свои пять пальцев. Главное — ничего не упустить, не прозевать и не забыть ни про один датчик и если не обезвредить весь участок, что невозможно, то хотя бы проредить его. Ну, это уж как повезет. Хорошо еще, что на этом участке полосы, вблизи заставы, не было всерных мин, и огневые точки были расположены с малым перекрытием зон обстрела.

Ага! Вот оно.

Раздался щелчок и вслед за ним — тихое, едва слышное гудение сервомотора. Лейтенант сделал шаг влево, и гудение прекратилось.

Чуть не прозевал, растяпа!

Еще шаг влево. Для надежности. Молчишь? Это хорошо, что молчишь. Век бы тебе молчать. А теперь вперед, немного, всего пара шажков. И снова тишина.

Умные ребята эту полосу придумали, да сквалыги монтировали, прости их, Данда. Не жадничай они, поставь второй ряд огневых точек, здесь не прокрался бы и святой. А еще шаг? Назад! Влево, балда, влево! Вот так, шаг влево и два вперед, шаг влево и два вперед. И что получится? А получается, что топать мне прямехонько вон на ту кривую сосенку.

И он потопал, напряженно пытаясь за гомоном так не вовремя разоравшихся птиц расслышать гудение сервомотора, и скоро увидел замаскированный под валун бетонный капонир и овальный зев амбразуры, и дуло пулемета, которое целилось ему прямехонько промеж глаз. И теперь уж совсем нельзя было ошибиться, потому что слишком близко он подошел, и на слишком малый угол нужно повернуться к пулемету.

Лейтенант лег на землю там, где по его расчетам должна была быть мертвая зона, и дальше продвигался ползком. Наконец он добрался до копонира, прислонился спиной к его еще не нагретому солнцем покатоному боку и закурил. Теперь можно покурить, можно отдохнуть. Осталось совсем немного: перерезать идущий от копонира к датчикам кабель. И в обратный путь, к границе полосы, к следующей точке, пропади она пропадом.

Только руки с каждым разом все больше и больше дрожат, и отдыхать приходится дольше. Но пока везет. Пока.

Часов через шесть, мокрый до нитки, исцарапанный, уставший, но живой и по этому поводу очень собой довольный, он добрался до поросшей густым кудрявым кустарником лощинки. Дальше соваться не стоило, тут знакомый участок кончался. Что там напридумывали соседи, только им одним известно. Хватит испытывать судьбу, пора возвращаться.

Он ничуть не удивился, увидев на дне лощинки две свежие выжженных полосы, и там, где полосы пересекались, еще слабо дымились какие-то лохмотья.

— Идиоты. Какие же идиоты, — без сожаления, просто констатируя факт, пробормотал он и потянулся за сигаретами.

И услышал из кустов на противоположной стороне лощинки не то писк не то плач. Он застыл на месте, так и не донеся сигарету до рта. Писк повторился, и на склоне зашевелились кусты, будто там кто-то пробирался ползком или на четвереньках. Кто-то, вероятнее всего раненый, спускался на дно лощинки странными зигзагами, то приближаясь — и тогда у лейтенанта перехватывало дыхание, — то удаляясь от зоны действия огнеметов.

— Правее! По самой кромке! — не выдержав, закричал лейтенант. — Идиот! Какой идиот, там же наверняка есть пулеметы.

Тот, внизу, на советы лейтенанта реагировал очень странно, словно задавшись целью делать все наоборот, и поперся напрямик к обугленным лохмотьям.

Лейтенант громко выругался и отвернулся. Хочешь подыхать — подыхай, я в этом не участвую. Какое мне до всего этого дело?!

Огнеметы молчали, этому типу страшно везло. Может быть, не такой уж он идиот. Лейтенант не выдержал и обернулся. На дне лощинки все еще шевелились кусты, и там, где они были гуще, движение замедлилось. А потом тот, внизу, все еще невидимый, замесался вдруг из стороны в сторону, окончательно потеряв ориентацию или способность соображать. Наверняка

какой-нибудь из датчиков уже засек его и вел, и стоило ему появиться в зоне действия другого датчика, как ударят пулеметы или огнеметы. И ничего нельзя было сделать.

Наконец этот тип, внизу, принял решение, самое дурацкое из всех возможных — пополз по склону вверх, прямо к тому месту, где, спрятавшись за деревом, стоял лейтенант.

Звуки, издаваемые им, стали слышнее, теперь было ясно, что это сдавленные всхлипывания.

Лейтенант стиснул зубы и ждал. Отвернуться у него уже не было сил. Но вот кусты в метрах пяти от него раздвинулись, и из них показался ребенок, мальчуган лет пяти-шести, одетый в грязный синий комбинезон и такого же цвета каскетку. Общими руками он тер себе глаза, размазывая по щекам грязь и слезы.

Лейтенант опомнился, только услышав слабый характерный щелчок и тихое гудение сервомоторов.

— Стой! — заорал он и прыгнул, на мгновение опережая пулеметную очередь.

— А зачем я, собственно, все это делаю? — выбравшись из последнего шурфа спросил лейтенант у мальчика. — Я не знаю. Может быть, ты знаешь?

Мальчик ничего не ответил, он вообще ничего не говорил и, как подозревал лейтенант, не слышал. Устроившись на ящике со взрывчаткой, он деловито и сосредоточенно одну за другой опорожнял расставленные перед ним банки консервов. Покончив с очередной банкой, он с сожалением отставлял ее в сторону и принимался за следующую, не снижая темпа.

— Я думаю, дети в твоём возрасте не должны столько есть, — с сомнением проговорил лейтенант. — С ними от этого что-нибудь может случиться. Хотя откуда мне знать, сколько должны есть дети в твоём возрасте и что с ними может случиться? Ты нигде не видел пассатижи?

Мальчик оторвался от банки и поднял на лейтенанта огромные не по-детски серьезные глаза. От взгляда ребенка, ждущего, испытующего, непонятного взрослому вдруг стало не по себе.

— Ты чего? — пробормотал он. — Населся? Ну что ты на меня смотришь, будто ждешь чего-то, а? Ты пассатижи не видел? Да вот же они!

Лейтенант взял лежавшие на виду пассатижи, моток провода, коробку с детонаторами и пошел к Стене. Спинай он чувствовал

взгляд мальчика, и это его беспокоило. Станный ребенок. Чей он, откуда? Как оказался на полосе?

Лейтенант принялся устанавливать детонаторы, и мальчик внимательно следил за каждым его движением, будто контролируя.

— Ну вот, осталась сущая ерунда, — сказал лейтенант, один за другим ловко вставляя детонаторы. — Это уже и не работа вовсе — развлечение. Ты знаешь, малыш, я ведь всю жизнь был подрывником. Это у меня в крови, честное слово. Расчеты и формулы я никогда не уважал, хотя без этого нам никак нельзя. Просто смотрю на здание, гору или вот эту стену, и она уже не стена, не гора и не здание, а просто объект. Я смотрю и вижу, где нужно заложить заряд и сколько взять взрывчатки, чтобы все было так, как я хочу. Такие дела... Тут, малыш, нужно чувствовать, никакие формулы не помогут, формулами потом все можно проверить. Чувствовать, в этом все дело. Понимаешь, малыш, нам как-то рассказывали в лицее, забыл, как называется... в общем, все всегда хочет рассыпаться. Что бы ты не строил, как бы не сцеплял гвоздями или цементом, или еще как-нибудь, все хочет рассыпаться. А я только помогаю. Вот смотри — Стена. Хорошо ее строили, крепко, навсегда. А знаешь, чего ей больше всего хочется, а? Рассыпаться! Тут только подтолкнуть, помочь немного, выкопать шурфы, заложить взрывчатку, вставить детонаторы, протянуть провода, подсоединить к динамо, повернуть ручку... А знаешь, малыш, если ты согласен, я берусь сделать из тебя отличного подрывника. Ты хорошо начинаешь. А знаешь, что я взорвал впервые? Собачью конуру! А ты — сразу Стену. У тебя большое будущее, малыш, да еще с таким взглядом... И ты молчаливый, это тоже хорошо. Болтливость — последнее для подрывника дело. Это я из-за тебя сегодня разговорился, вообще-то из меня слова не вытянешь, потому она и ушла от меня... И почему людям нужно все объяснять, зачем? И так понимать должна, что я сам себя ради нее взорвать готов! Должна была понимать... Не поняла... Наверное, тот толстобрюхий, ей больше сумел объяснить. Э-э-э, да ты уже спишь, приятель!

Лейтенант закончил возиться с детонаторами, подсоединил провода и, подняв ребенка на руки, пошел к заставе. Мальчик тихонько сопел, доверчиво прижавшись к лейтенанту, в грязной ручонке была зажата большая солдатская ложка.

— Лихо ты с двухдневным пайком расправился, малыш. Еще бы после этого не уснуть, я бы тоже уснул... И откуда же ты взялся?

Время от времени лейтенант оборачивался и смотрел на тянущуюся за ним черную нитку провода.

— Только бы не обрезал кто-нибудь. С них, идиотов, станется...

Он уложил мальчика на свою кровать, и тот, свернувшись калачиком, задышал ровно и глубоко. Сам лейтенант сел к столу и принялся зачищать концы проводов.

— Сейчас вставим их в клеммы таймера, — негромко говорил он, комментируя свои действия. — Затянем... вот так. И готово, малыш... Теперь только время установить и рычажок повернуть.

Он закончил свою работу, откинулся на спинку и закурил.

— А это даже хорошо, что ты ничего не слышишь, — сказал он. — Отличным будешь подрывником. И уши зажимать не надо. Вот не говоришь ничего — это плохо. Объяснил бы мне, чего им всем надо? Чего они там не видели, за горами? Пустыни? Видел я эту пустыню, песок и песок, ничего особенного, такой же, как у моря. Вниз я, правда, не спускался, но на той стороне бывал не раз. Фазаны там, не поверишь, побольше тебя будут, и людей совсем не боятся... Из-за них я на гауптвахту и угодил. А в Городе за это меня бы просто повесили... смешно. Посмотрел бы ты на физиономии адептов, когда они присажали к нам и поднимались в перископную! Смех да и только. Ведь сказано же — нельзя! А знаешь, я ведь тоже чуть было в послушники не подался, очень уж она мне совствовала... Малыш, я ведь сс с детства знал, мы вместе в «дантаисты и кормчис» играли. Голенастая такая, чумазая, глазищи сверкают... А потом представил, что на Посвящении придется ногу себе ломать, а потом хромать всю жизнь... Нет, приятель, это не по мне. Насмотрелся я на них досыта. Ручонками за окуляры уцепятся и аж дрожат и слюнку пускают, так им на Пустыню посмотреть охота. Да ведь нет там ничего интересного. Вот если перейти через нее... Да разве перейдешь? Знаешь, малыш, а ведь я успел бы тогда добежать до заставы и щелкнуть тумблером. Выходит, я убил ее? Или тогда еще убил, когда не пошел в послушники? Она ведь знала, малыш, наверняка знала, что я на этой заставе, не могла не знать. Так зачем же, малыш?... Мне теперь все равно, малыш, честное слово. Вот только посмотреть бы, как эта штуковина



бабахнет, а потом... Слушай, а мне все равно, что будет потом.

Заслышав далекие выстрелы, лейтенант поморщился и пробормотал:

— Идиоты... Святой Данда, какие идиоты! Малыш, ну неужто там нет ни одного умного человека? Разве трудно сообразить, куда нужно идти?.. Сообразят, куда они денутся.

Грязные, в копоти, голодные и до смерти усталые ремесленники, рыбаки, профессора, художники, проститутки, лавочники, картежные шулера, преподаватели лицей, послушники, врачи, домохозяйки, сутенеры, солдаты, наркоманы, ученые, ювелиры, воры, люди, отбросившие веру или жаждущие ее обрести, убившие ее в себе или пытающиеся сохранить последние крупинки, они шли всю ночь, освещая путь фонарями и самодельными факелами.

Они не знали, куда придут, они не могли больше оставаться там, откуда пришли.

Утром они добрались до заставы.

— Ну вот, малыш, они пришли.

Мальчик еще спал. Лейтенант поправил сбившееся одеяло, установил время на таймере и повернул рычажок. На секунду задумавшись, он снял портупею с кобуры и повесил на спинку стула. Оружие ему больше не понадобится, он хотел в это верить.

Он вышел из комнаты, миновал коридор и неторопливым мерным шагом сделавшего свое дело человека направился вниз по дороге туда, где перед тростинкой полосатого шлагбаума застыло в ожидании людское море.

До людей оставалось совсем немного. Он уже мог различить выражение их лиц, злых, отчаявшихся, ждущих и покорных. Он подумал, что никогда не понимал и не сможет понять их: ведь это же совсем просто — поднять или сломать шлагбаум, в конце концов пролезть под ним!

Он мельком глянул на часы. Секундная стрелка завершала последний круг.

Он успел подумать, что когда мальчик проснется, он проснется в мире, где нет Стены. И еще лейтенант подумал, что неплохо было быть рядом с мальчиком, когда он проснется. А Пустыня, что Пустыня, не такая уж она и большая, вдвоем ее можно будет перейти и посмотреть, что там, дальше...

Выстрела он не услышал. Что-то сильно толкнуло в грудь, и перевернувшаяся вдруг земля сзади обрушилась на него.

А в следующее мгновение, но этого он уже не видел, вспухла перекрывающая ущелье Стена, плавно подалась вверх и вширь, окуталась облаком пыли, рассыпалась гулом и дрожью земли. Порыв ветра с гор подхватил пыль и разметал ее по склонам.

Сильный толчок едва не сбросил мальчика с постели. Он проснулся и открыл глаза. Комната была незнакомой. Картина на стене перед кроватью раскачивалась из стороны в сторону и вдруг, сорвавшись с гвоздя, беззвучно упала на пол. Брызнули осколки стекла. Мальчик рассмеялся. Он никогда еще не видел, чтобы картины сами прыгали со стены. Он слез с кровати и на цыпочках, чтобы не поранить босые ноги стеклом, выбрался в коридор. И коридор тоже был незнакомый. В доме, где он жил, не было таких коридоров. Мальчик принялся его обследовать, но скоро ему это наскучило. Все двери были закрыты, а это совсем неинтересно. Наконец одна дверь, в самом конце коридора, подалась, мальчик распахнул ее и оказался на улице. Повсюду стояли люди, много людей, столько он никогда не видел. Они смешно разевали рты, размахивали руками, топтались на одном месте и все смотрели в одну сторону, вытягивая шеи.

Это было похоже на какую-то забавную игру.

На мальчика никто не обратил внимания. Он спустился по ступеням и отправился в ту сторону, куда смотрели все эти странные люди.

Путешествие было долгим, мальчика никто не останавливал, люди все так же стояли и смотрели в одну сторону. Чем дальше мальчик пробирался, тем плотнее стояли люди друг к другу. Руками они уже не размахивали и рты не разевали, просто стояли и смотрели. Скоро мальчику, чтобы пробраться между ними, пришлось опуститься на четвереньки. Наконец впереди за частоколом ног показался просвет.

Мальчик выбрался из толпы и увидел, куда были направлены взгляды не разевающих рты и не размахивающих руками людей.

Испуганные, притихшие, ждущие стояли люди там, где совсем недавно была перекрывавшая вход в ущелье Стена, а теперь не

было ничего, только покрытые толстым слоем пыли обломки, а там, куда вело ущелье, по другую сторону Запретных гор, была Пустыня. Все знали это, но ни один не находил в себе силы сделать шаг вперед.

Пыль была мягкая и теплая. Мальчик шагнул раз, другой, третий. Мелкие камушки щекотали босые ноги, и мальчик рассмеялся. Он обернулся и увидел, что теперь все смотрят на него. Смотрят так, как никто никогда на него не смотрел.

Мальчик испугался, отвернулся и побежал прочь, подталкиваемый в спину этими взглядами.

Босые ноги оставляли в пыли глубокую дорожку следов.

#### 4. ...

«Он был глух и не слышал лживых истин. Он был мал и не успел совершить ошибок. Он был бос, чтобы чувствовать землю под ногами. Одежды его были цвета неба над головой, волосы цвета песка в Пустыне, совесть чиста, а душа исполнена любви к людям, которых он пришел спасти.

И люди сняли обувь, чтобы чувствовать землю под ногами, и пошли за ним, чтобы жить там, куда он их приведет, и ждать, когда отверзнутся уста его, и он скажет Истину. Лучшие из лучших стали учениками его и доносили до людей его волю и карали ослушавшихся».

*Откровение Пустынника*

## ВТОРАЯ ПЕТЛЯ

(из цикла «Одиссея альтернатора»)

Кто не попал в первую пуговичную  
петлю, тому уже не застегнуться.

*Гете.*

— ...это случайность, которой просто не должно быть! Прошу поверить, я говорю чистую правду. Если бы за те три месяца по относительно времени и семьдесят лет по абсолютному не разрядились аккумуляторы моей капсулы, я никогда бы не попал... Да что там говорить... Дайте мне всего два дня. Я найду способ их зарядить, и вы больше не меня увидите.

— Ты отступник— прокаркал адепт-хранитель,— и отступник упорствующий. Для того, чтобы послать тебя на костер, Священной Комиссии достаточно взглянуть на твой наряд... А ведь ты еще умешь читать и писать?

Человек в грязной, изодранной тунике кивнул.

— Так я и думал. Иначе откуда ты смог бы узнать о деятельности былых времен? Но ты невнимательно читал канонические книги или умышленно искажаешь их. В твоём рассказе столько нелепостей, наглой лжи и явного отступничества, что...

— Но я же говорил, альтернативная возможность...

— Увести его!

— Его нужно казнить хотя бы из уважения к истине,— сказал адепт-хранитель, когда за пленником закрылась дверь, и добавил в сторону секретаря,— это не для протокола, для мемуаров. История одна, и она изложена в канонических книгах. Другой нам не надо. Если же хотя бы сотая доля его рассказа соответствует действительности и об этом кто-нибудь узнает, великая смута в умах неизбежна. Его нужно казнить ради незыблемости

истории и истины, и никто никогда не посмеет обвинить меня в несправедливости.

И он подписал приговор.

1.

Еще на первых курсах нам твердили, что история — наука экспериментальная, прикладная, но не до такой же степени!

Конечно, теория допускает, что вместо того, чтобы быть в альтернативной действительности невидимым и неосязаемым, исследователь вдруг обретае́т плоть, но вероятность этого настолько мала...

Со мной это произошло дважды. И этот второй раз будет, похоже, последним.

Все, допрыгался альтернатор. Говорила мне мама: «Не ходи, сынок, в альтернаторы, ходи в физики-теоретики». Не послушался. И пойдут теперь мои хорошо обжаренные косточки на удобрения, хотя, наверное, они и удобрений-то еще не знают. А в этой реальности, может быть, и не узнают вовсе. Тем хуже для меня. Буду растаскан на все четыре стороны воронами черными да собаками бездомными...

И до того меня расстроила безрадостная будущность, что чуть было не брызнули на гнилую солому скупые мужские слезы. Непременнó скупые, как альтернатору и положено.

Нет уж, дудки, такого удовольствия я им не доставлю! Дематериализуюсь к чертовой матери, то-то обалдеет Верховный Хранитель!

Я представил Верховного Хранителя обалдевшим, и мне стало почти хорошо.

А все-таки гад он порядочный. Отступник! Отступничество! На костер! Гад, вдобавок испорядочный. Чинуша проклятый, буквоед занудный, маньяк плесневелый... А почему, собственно, плесневелый? Просто маньяк, а может, и не маньяк вовсе. Работа у него такая, время такое, а сам он не что иное, как порождение этого времени, продукт, так сказать, теперешнего уровня развития цивилизации в данной альтернативной действительности, а для теперешнего уровня данной АД пожарить живого человека на костре — самое что ни на есть благое дело.

Я-то перед ним с перепугу как распинался, даже стыдно. Чихать он хотел на множество альтернативных действитель-

ностей, на вертикальное и горизонтальное перемещение по ним, на меня, на капсулу и на аккумуляторы. Он даже понять не захотел, что я не отсюда!

Отступничество. Не бывает. И камни с неба не падают. Стойкая позиция. Главное, спокойная.

Ну и физиономия у него была, когда капсула выскочила из темпорального потока. Зрелище впечатляющее до заикания. Я и сам бы испугался, но при чем здесь костер?! Пироман несчастный. Нет, несчастный из нас двоих как раз я, он-то сидит сейчас где-нибудь и возлияния совершает с закусываниями... а может быть, сейчас пост, и он в порыве религиозного экстаза плоть уязвляет? С трудом верится, если учесть, в какой щекотливый момент я предстал перед его грозные очи.

Есть-то как хочется. Это ж сколько времени я не ел? Целую вечность. Триста лет до новой эры да плюс еще веков пятнадцать-шестнадцать... За эти века Европа сменила развеселое язычество на христианство, в лязге железа проползла всереница крестовых походов, выяснили отношения Алая и Белая Розы, Данте посетил ад и вернулся обратно, Мартин Лютер защитился чернильницей от искушавшего его дьявола, Леонардо да Винчи изобрел все мыслимое от часов до подводной лодки, корабли Колумба привезли табак и картофель...

Но все это было в моей действительности. Здесь же, куда меня занесло благодаря влиянию малых членов разложения темпорального поля в ряд Игнатьевой-Рамакришны-Либиديха, все могло быть совсем по-другому. Европа могла называться не Европой, а как-то еще, а любимым архитектурным сооружением могли бы быть ацтекские пирамиды или храмы Солнца. Хорошо еще, что я не попал в полосу тупиковых действительностей. Тут, по крайней мере, есть люди.

Бряцанье засова прервало мои размышления. Тяжелая дверь с истошным визгом повернулась на петлях, и в просме нарисовался похожий на огромного медведя адепт с факелом в одной руке и каким-то свертком в другой.

— Вставай, отступник, — прорычал адепт и гулко икнул.

Сердце екнуло и куда-то провалилось, оставив вместо себя сосущую пустоту. Я отчетливо ощутил выступивший на ушах иней и схватился за дематериализатор.

— Уже на костер? — шепотом спросил я и тоже икнул.

— А ты очень торопишься? Боишься, что к твоему приходу котлы в аду остынут? — он громко захохотал, с потолка посыпалась труха, пахнуло чем-то смрадным, чесночно-сивушным.

— Оденься,— он бросил мне узел с тряпьем.— Смотришь противно.

Можно было поспорить о том, что имеет более эстетичный вид — моя почти новая туника или дырявые штаны и грубая дерюжная рубаха, но я вовремя сообразил, что спор в данной ситуации — дело не только бесполезное, но и явно опасное. И спорить не стал.

Пока я переодевался, громила адепт презрительно хмыкал в адрес моей далско не геркулесовой фигуры, давая понять, что будь на то его, адепта, воля, он не стал бы возиться со всякими там расследованиями, приговорами, кострами и прочими глупостями, а просто положил бы меня на одну ладонь, другой прихлопнул, сдул то, что осталось, и все. И никаких забот.

Но! Дисциплина есть дисциплина, и воли адепту никто не давал, что я не без удовольствия отметил. Так что пришлось ему смирить свои кровожадные порывы, завязать мне глаза куском мешковины и, поминутно икая и недовольно бормоча, куда-то повести. Будь на то моя воля, я завязал бы себе нос, ибо смердел ревнитель веры нестерпимо.

На самом деле все не так уж плохо, думал я, шлепая босиком по холодному скользкому полу и ощущая на плече полновесность адептовой длани. Если меня собираются сжечь, то зачем повязка? И потом, я всегда смогу дематериализоваться. Заряда моего браслета как раз хватит на то, чтобы разложить на атомы или меня, или половину моего стража. Наполовину дематериализованный адепт — веселое, должно быть, зрелище.

## 2

Каменные плиты под ногами сырые, но вода уже не хлупает. Поворот налево, ступенька, я чертыхаюсь: мог бы и предупредить. Еще ступенька, еще и еще. Сорок одна ступенька. Адепт хрипит и фыркает, как больная лошадь.

Поворот направо, еще поворот. Сухой пол, если верить моим подошвам, — дощатый, плохо выструганный. Еще поворот, прямо, поворот, когда же это кончится? Кажется, пришли.

Адепт сорвал с меня повязку и втолкнул в полутемную

комнату. Около высокого узкого окна, похожего на бойницу в крепостной стене, в сизом облаке благовоний сидела томная девица и лениво щипала струны чего-то отдаленно напоминающего гитару. После каждого щипка инструмент пронзительно дребезжал, и девица капризно морщилась. На коленях у нее лежала огромная книга. Золотое тиснение по красному кожаному переплету. В памяти у меня всплыло красивое слово инкунабула. Я огляделся: свечи, множество оплывших свечей в тронутых зеленью подсвечниках. Горят лишь некоторые. Драпированные побитым молю бархатом стены. Девица. Лицо девицы мне знакомо, не просто знакомо, а мучительно, до зуда в мозгах знакомо. Если умыть ее с мылом, немного подвести глаза, постричь черные космы и сделать их светло-каштановыми... На кого же она похожа?

Я готов был выругаться от бессилия вспомнить.

— Здравствуй, отступник,— сказала девица неожиданно низким голосом.

— Желать здоровья человеку, которого вот-вот сожгут, как сосновое полено?

Нечего с ними церемонии разводить, пусть знают, с кем имеют дело. Я расправил плечи так, что затрещала рубаха, и выпятил грудь.

— Ну-у-у,— не замечая моей воинственной позы, девица сладко потянулась и зевнула,— сожгут тебя или не сожгут, еще неизвестно.

— Верховный Хранитель подписал приговор.

Девица хмыкнула.

— Однако ты струсил,— сказала она, с любопытством глядя на меня.— Да будет тебе известно, что Верховный Хранитель сейчас болен. А говорил ты с генералом Бандини, главой святого ордена дандаистов. Он временно взял на себя тяжкое бремя охраны чистоты дандаистской веры.

Эта новость почему-то здорово меня ободрила.

— Ах, вот оно что,— сказал я.— То-то мне сразу показалось, что он не верховный... А что с самым главным? Бремени не вынес? У меня со временем туговато, и вообще...

— Не смей так говорить о наместнике святого Данда! — взвилась девица.— Не то в Священной Канцелярии тебя быстро научат почтительности.



Вот так всегда. Мой язык меня погубит, как говорила моя бабушка, а уж она зря ничего не обещала. Но на кого же похожа эта святоша?

— Что-то на площади перед Цитаделью давненько не пахло жареным, — вско вставил за моей спиной адепт. — Дозволь, высокородная, я его ударю.

Девушка отмахнулась.

— Пока не надо. А ты, отступник, если дорожишь языком, говори только тогда, когда тебя спрашивают, понял?

Я кивнул.

— И еще, — девушка многозначительно покачала у себя перед носом пухлым пальчиком. — Все зависит от тебя. Мой отец никогда не делает опростывших поступков. Понял?

Я не понял, но опять кивнул.

— Так ты... вы дочь генерала ордена?

— Нет, это он мой отец. Духовный отец.

И опять я ничего не понял, но на всякий случай обнажил зубы в подобии улыбки и поклонился. Почему-то хотелось подхалимски шаркнуть ножкой. Сдержался.

— Я его воспитанница, — хвастливо пояснила девушка.

Адепт громогласно хмыкнул.

— Да, именно воспитанница! — повторила девушка. — Пшел вон, образина!

Последние слова относились к адепту, но я вздрогнул, еще раз поклонился и все-таки шаркнул ножкой.

Недовольно ворча, адепт вышел. Девушка несколько секунд прислушивалась к удаляющимся шагам, а потом сказала:

— От меня тоже кое-что зависит, понимаешь? Генерал немного рассказал мне о тебе, но хотелось бы услышать все из первых уст. Надеюсь, это меня развлечет, ну а если нет...

Тысяча чертей! И почему я в свое время не ходил на факультатив по истории мракобесия?! Знал бы хоть, как с ними говорить надо. Кажется, побольше лести и самоунижения... Люди-то, конечно, остаются людьми в любой альтернативной действительности, разница только в том, как они себя называют: гетерами, наложницами, воспитанницами, экономками или товарищами по работе. Суть одна, а попробуй ошибись в названии — мигом изжарят.

— Я рассказывал его превосходительству э... господину гене-

ралу историю злоключений, кои имели место быть с вашим покорным э... слугой...

Я говорил долго, пока не споткнулся, пытаюсь закруглить какой-то неудобоваримый комплимент, и со вздохом закончил:

— ...и я с великим усердием, насколько позволят мои ничтожные силы, изложу тебе все, что ты пожелаешь, о несравненная дева, светоч добродетели и красоты, продлив свою жалкую жизнь хотя бы на время моего грустного повествования...

Вдох у меня получился талантливо. Да что там говорить, гениальный был вдох, полный самого безысходного отчаяния и смирения, но тут как назло в памяти всплыла обнаруженная мной в одной из действительностей история «Тысячи и одной ночи», и я закусил губу, убивая идиотскую ухмылку.

— Но почему же ты собираешься рассказывать грустное, — капризно сказала девица. — Я не хочу грустное, понял? Ну что же ты молчишь? Говори!

Говори! А что говорить? Рассказать об Институте, где я работаю? Нет, взгрустнет несравненная — и никто не даст за мою жизнь сгоревшего предохранителя. От скучающей женщины можно ждать что угодно.

Я усиленно ворочал мозгами, пытаюсь вытряхнуть из извилин хоть что-нибудь смешное. Выдать ей обоим институтских анекдотов? Так разве поймет, куда ей, темной...

— Что читаешь? — спросил я, указывая на книгу.

— Исгуда Абарбанель, «Диалоги о любви».

— Нравится?

— Ну-у, как тебе сказать... — протяжно и почему-то в нос ответила девица.

И тут меня осенило. Ну-у, как тебе сказать... Конечно же, Эллочка из отдела костюмов и обрядов! Разница только в цвете и длине волос, как я раньше не сообразил? А раз так...

В следующий миг моя непринужденная улыбка осветила затканые вековой паутиной углы, я пристроился на полурядом с девицей и попросил для вдохновения коснуться ее руки. И все. Дальше я уже все знал. Она могла бы молчать, последующий диалог был под силу мне одному.

— Могу ли я знать твоё имя?

— Мария-Изабель дель...

Там еще три раза повторялось дель, четыре раза де, один раз ибн. Повторить ее имя я не смог бы даже под страхом смерти.

— Достаточно,— прервал я ее.— Твоих имен хватит на полностью укомплектованный женский монастырь. Я буду звать тебя Эллочкой. А меня зови просто Эрик. — Через полчаса, совершив краткий ознакомительный экскурс в проблемы пространственно-временного континуума, мы перешли непосредственно к волнующей даму теме.

О Мода! По убойной силе с твоими чарами могут сравниться разве что стрелы Амура! Ты всецело завладевашь трепещущими женскими сердцами и заставляешь нсандерталку сокрушать череп несъедобному пещерному леопарду, чтобы завладеть его шкурой, а женщину более цивилизованных времен — в сладком оцепенении замирать у прилавков и витрин. Как я благодарил твое извечное непостоянство и как признателен был Эллочке из отдела костюмов и обрядов за казавшееся раньше ненужным посвящение в свои тайны.

Я вскользя коснулся древнегреческих туник, хитонов, хламид и экзомид, рысцой пробежался по незнакомой мне одежде начала эпохи глобальных религий и медленно, смакуя каждое слово, поплелся по благодатной ниве мод просвещенных всков.

Платья вечерние и пеньюары утренние, плиссе и гофре, юбки мини-миди-макси, брюки и блайзеры, свитера и блузки, кокетки, планки, вытачки и полочки, клапаны врезные и накладные, подплечики, застежки потайные, смещенные и застежки-молния, рукава втачные, рубашечные и кимоно, воротники отложные и стойкой...

Бедная Эллочка краснела и бледнела, хваталась за сердце и голову попеременно, в ужасе отшатывалась, восклицая: «Святой Данда! Спаси от искушения — открытые колени!» Но очень скоро вошла во вкус, отбросила предрассудки и начала задавать вполне осмысленные вопросы типа: что такое карман ласточкой? Или: а здесь врезной или реглан? Когда зазвонил за окном полуденный, а может, полуночный колокол, она уже почти на равных могла бы общаться с прекрасной половиной моих современников. Во всяком случае, с Эллочкой из отдела костюмов и обрядов они нашли бы общий язык.

Мы исчеркали весь пол свечным нагаром, я возгордился и

уже хотел перейти от изобилия форм верхней одежды к несоборным безднам нижней, как дверь без стука отворилась, и вошли двое в белых рясах и черных плащах.

— Покрой цельный, силуэт — трапеция без вытачек, — автоматически ответил я.

— Вы его уводите? — встрепенулась Эллочка.

— Завтра его желает видеть... — один из вошедших закатил глаза и указал на потолок, в то время как другой сосредоточенно изучал наши чертежи на полу.

— Эрик, — спросила Эллочка на прощание, — а если рукав реглан и воротник...

Я не успел дослушать и от удара костлявого кулака вылетел за дверь.

И опять мне завязали глаза и повели по затхлым коридорам, где из-под ног с писком выскакивали мышиные семейства, и я опять очутился на гнилой соломе, с той лишь разницей, что теперь передо мной лежала черствая лепешка и стояла миска костей, судя по гигантским размерам, принадлежавших мамонту.

Всю ночь мне снились кошмары, за мной гонялись безголовые и безрукие портновские манекены и распевали унылые псалмы.

### 3

Стоя на верхней площадке башни Святого Гауранга, генерал жевал яблоко. Хороший добрый человек никогда не стал бы есть яблоко так. Генерал откусывал крохотные кусочки, склонив голову набок и внимательно прислушиваясь к чему-то внутри себя, долго их пережевывал, а потом резко, как лекарство, глотал. При этом его острый кадык под желтой кожей с редкими волосками судорожно дергался.

Когда творец задумал создать Город, он взял за основу местный способ приготовления пиццы, которую, если верить знатокам, готовят без рецепта из всех имеющихся в наличии продуктов. У творца их было много. Он щедро сыпал в кучу дворцы, храмы и лачуги, добавил кривых и узких, похожих на спагетти улочек, круто все замешал на мутных водах священной реки и, закрыв глаза, бросил эту смесь на пресловутые семь холмов. Потом посмотрел на дело рук своих, ужаснулся и, чтобы хоть как-то исправить положение, в особо неаппетитные места втиснул площади и покрыл все толстым слоем грязи.

Довольно долго генерал рассказывал мне историю Города, а потом вдруг спросил:

— Если я верно тебя понял, то стоит мне столкнуть тебя сейчас вниз, и родится новый мир, в котором я тебя вниз не сталкивал?

Я отступил от края. У генерала был практический ум, даже слишком.

— Любое наше действие образует альтернативную действительность, — сказал я, — но если действие не влияет на дальнейшую судьбу мира, то материнская действительность и альтернативная практически друг то друга неотличимы. А если...

— Это я понял, — нетерпеливо оборвал генерал. — Только исторические поступки личностей могут породить эти другие миры. Так?

— Не совсем так, но в общем-то верно.

— И твоя машина, или как там ты ее называешь, может показать, что было бы, если бы в свое время кто-то сделал что-то не так, как он сделал, а иначе? И сейчас на нас может смотреть кто-то из твоих друзей, обладающих такой же машиной?

Генерал надолго замолчал и молча съел еще два яблока подряд. Кадык едва не разрывал кожу на шее.

А ведь сейчас он колеблется, неожиданно подумал я. Эти разговоры, сегодняшняя прогулка по застенкам — все это только подготовка. Слишком он волнуется, прелюдия окончена. Он волнуется так, будто должен сообщить мне нечто важное, важное для него. Скажет или нет?

Генерал сказал:

— Я верю тебе, — сказал он. — Тебе здесь не место. Тебе и твоей машине. Ты уйдешь отсюда.

И еще он сказал, что члены Священной Комиссии тщательно исследовали мою капсулу и пришли к выводу о потустороннем ее происхождении. Руки человеческие не в состоянии сделать ничего подобного, заявили просвещенные мужи, следовательно, я сам и моя капсула — Порождение Великого Искуителя.

И еще он сказал, что скромной моей персоной заинтересовался сам Верховный Хранитель и, хотя он не совсем оправился от болезни, пожелал меня видеть сегодня же.

— Будет лучше для тебя, — сказал генерал, — если ты не скажешь и половины того, что сказал мне. Иначе я не смогу тебе помочь.

Спустя немного времени я уже трясся на жестком сиденье тарантаса без окон. За стенками экипажа щелкали бичи, ржали кони, кто-то изо всех сил дул в рожок, прокладывая дорогу в сутолоке узких улочек. Колеса звонко простучали по мостовой, вероятно, мы через мост святого Вимудхаха въехали на площадь перед Цитаделью, потом несколько раз круто повернули, звук стал глуше, кучер прикрикнул на лошадей, и тарантас остановился.

4

Сухонький старичок с бойкими голубыми глазами и мохнатыми седыми бровями совсем не походил на главу и опору, живого святого, наместника Данда на грешной земле и прочее, прочее. И тем не менее это был он, Верховный Хранитель Цитадели — Данда Джурсен Нестовый.

Укутанный в одеяло и обложенный подушками, он полулежал на низкой кушетке перед столиком с фруктами, кувшином и золотой чашей. Он казался придавленным тяжелой нагрудной пластиной с изображением распластавшей крылья птицы.

— Так это ты до смерти напугал генерала Бандини? — спросил Верховный Хранитель.

Не зная, как отвечать, я молча поклонился.

— Если это так, я тебе не завидую. Бандини умест мстить. Он ведь был не один, а? — Верховный хихикнул. — Будем надеяться, это не отразилось на его достоинствах. Ну ладно, — он махнул рукой. — Значит, ты утверждаешь, что прозрачная бочка, которую вот уже три дня обнюхивает Священная Комиссия, перенесла тебя из глубокой древности к нам?

— Это так, — подтвердил я, пытаясь за спиной развернуть клочок бумаги, который в темном коридоре перед потайной дверью в покои Верховного мне сунуло закутанное в саван существо. Оно, как привидение, появилось из какой-то ниши и совершенно бесшумно исчезло.

— Это так, — повторил я. — И не совсем так. Произошла какая-то невероятная ошибка, случайность. Вместо того, чтобы быть невидимым, неосозасмым, я попал к вам во плоти. Наверное, что-то произошло с капсулой, потому что две такие случайности с одним человеком произойти просто не могут. Вдобавок ко всему разрядились аккумуляторы...

Верховный слушал меня и кивал, поглаживая пластину на груди. Может быть, его понимающий и сочувствующий вид так на меня действовал или казалось напряжение последних дней и всков, но я презрел советы Бандини и рассказал этому симпатичному старичку все от начала до конца. Мне вдруг показалось, что это как раз тот человек, который и хочет и может мне помочь.

— Ты сильно взволнован,— сказал он, выслушав мою сбивчивую исповедь.— Выпей воды.

Он позвонил в маленький колокольчик, и в комнате появился тощий юноша в черном. По изгибу спины и маслянистым глазам можно было сразу догадаться, что это секретарь.

— Матео, принеси еще бокал,— сказал Верховный.

Матео поклонился, исчез и через секунду вновь появился, но уже с хрустальным бокалом. Он налил воду, предложил чашу старику, но тот отрицательно покачал головой, и Матео, поставив чашу на столик, направился ко мне. Он не шел, а парил над полом, едва касаясь его кончиками узких туфель. Кто ступает легко, тот пойдет далеко, вспомнилась мне старая поговорка. Если ей верить, будущее этого юноши можно считать обеспеченным. Он протянул мне бокал, но выпустил его из рук за долю мгновений до того, как я его взял. Нежный звон — и осколки хрусталя разлетелись по комнате.

В изысканных выражениях Верховный Хранитель высказал предположение о том, откуда у секретаря растут руки.

Юноша умоляюще смотрел на меня.

— Это я виноват,— сказал я,— даже не знаю, как это получилось.

— Неважно,— сказал Верховный, взмахом руки отпуская секретаря.

— Если я правильно тебя понял,— продолжал он, когда за секретарем закрылась дверь,— твоя машина может, минув вчераше, перенести тебя сразу в позавчера?

— И даже дальше. Я могу прыгать на любой отрезок времени назад по горизонтали и в любую альтернативную реальность по вертикали.

— Этого я не понимаю... А в завтра, в завтра ты можешь перенестись?

— Будущее недоступно,— сказал я. Потому что оно — следствие наших поступков сегодня.

— Хорошо сказано,— задумчиво проговорил Верховный Хранитель.— И часто мы стыдимся сегодня поступков вчерашних... Послушай, а если я влезу в эту машину вместе с тобой, то я тоже смогу увидеть происходившее в древние времена?

— Сможете,— со вздохом солгал я.— Конечно, сможете.

— И тогда я смогу видеть, что было бы, не поддайся я искушению и не сделай того, что сделал. Найду корни ошибок и в будущем исправлю их...

Верховный довольно быстро ухватил суть работы альтернатора: учиться на ошибках, исследовать альтернативные действительности, чтобы прогнозировать будущее.

— Но ведь... — он вдруг умолк, обвел расширившимися глазами свои покои и тихо, полувопросительно-полуутвердительно сказал: — Я смогу видеть, как Хромой Данда привел горстку людей в эту землю, спасая их от гибели, как он учил их, как был мученически убит отступниками и стал святым?.. Я увижу, все это я увижу своими глазами! Я всегда подозревал, что в канонических трудах не все правда, но теперь я увижу! А изменить, я смогу что-нибудь изменить?

— То, что случилось уже, нельзя неслучившимся сделать,— заученно повторил я высказывание древнего мудреца, выбитое над главным входом в наш Институт.

— Да-да, верно,— пробормотал Верховный.— Но мне хотя бы одним глазом посмотреть на мир, в котором я не сделал тех ошибок, которые сделал в этом мире...

Его глаза подернулись пеленой мечтательности. Похоже, за свою жизнь он совершил немало ошибок.

— Все это станет возможным, если я смогу зарядить аккумулятор,— прервал я его размышления.

— Что? — Верховный встрепнулся. — Да-да, ты получишь все необходимос. Дай мне попить.

Я подал ему чашку, он отпил и продолжал:

— И как этот Бандини выпустил тебя из своих лап? Воистину промысел Данда, и он не смог ему противиться. Ну, ничего, придет день, я и Бандини с твоей помощью приберу к рукам. Ты будешь готовить машину под моим личным наблюдением, я...

Лицо его вдруг исказила гримаса боли, он вскочил с кушетки, хватая ртом воздух, на губах выступила кровавая пена. Раздирая ногтями горло, он сделал шаг ко мне, споткнулся и рухнул на



пол, прежде чем я успел хоть что-нибудь сообразить. Тело его выгнулось дугой, глаза закатились. Кто-то за моей спиной заорал: «Измена! Держи отравителя!», но этот вопль закончился хрипом и бульканьем, будто кричавшему перерезали глотку.

Все дальнейшее отложилось у меня в памяти отдельными кадрами, контрастными и беззвучными, как фильмы начала эпохи ложного просвещения.

...Комната полна какими-то людьми в серых плащах с закрытыми капюшонами лицами. Они роются в бумагах, перестрахируют книги, снимают картины со стен.

...Руки Верховного Хранителя с коричневыми старческими пятнами беспомощно шарят по нагрудной пластине, судорожно дергаются и замирают.

...Черная бесшумная тень Матео скользит меж серыми плащами. Он видит меня, оскаливается, подмигивает, склоняется над тем, кто еще совсем недавно был наместником Святого Данда на грешной земле, а когда исчезает, вместе с ним исчезает и нагрудная пластина...

...Я пытаюсь вырваться и дотянуться до дематериализатора, но цепкие руки выволакивают меня из комнаты и тащат по коридору мимо статуй святых, с изумлением взирающих на происходящее из глубины своих ниш.

А одна статуя в белом саване сокрушенно качает головой.

## 5.

Телега в окружении конных гвардейцев медленно пробивалась сквозь беснующуюся толпу. Лиц я не различал, все злобные или ликующие вопли слились в один, все разинутые рты виделись мне одной огромной пастью, алчущей человечины, мяса, крови.

Моего мяса и моей крови.

Попытки хоть как-то прикрыть наготу остатками одежды вызвали новые взрывы злобного хохота и криков, и я их оставил. Я только старался уворачиваться от комков грязи, огрызков и камней, которыми добросердечное человечество провожало меня в последний путь. Каждое меткое попадание вызывало шквал восторга. Было больно и еще было обидно. За них обидно, потому что я-то знал, что совсем рядом, в другой действительности, развивающейся параллельно этой, с негодованием давно отвергли идею смертной казни эти же самые

люди. Впрочем, опять же рядом есть и другие действительности, в которых меня сожрали бы живьем. И сделали бы это те же самые люди. Самой спокойной в этом аду была кляча, впряженная в телегу. Она думала о чем-то своем и лишь изредка прядала ушами да похлопывала жидким хвостом по костлявому крупу, не причиняя особого ущерба вившемуся над ней слепню. Олимпийская выдержка клячи внушала уважение. Я старался брать с нее пример и сам себя уговаривал: «Ну ничего, уже скоро, совсем скоро доседем. Там добрые дядечки костер сложили, чиркнуть спичкой... нет, не спичкой, спичек они еще не знают, чем-нибудь другим чиркнуть, и все. Сначала огонь весело побежит по хворосту, будет больно, совсем недолго, ты почувствуешь запах горелого мяса, твоего мяса, дружок, немного покричишь, кстати, кричать можно все что угодно, ты уже придумал, что будешь кричать? Потом потеряешь сознание. Ничего страшного, не ты первый, не ты последний. А эта кляча отправится домой, посст овса или чего там она ест, а потом повезет еще кого-нибудь из застенка на площадь перед Цитаделью, но это уже будешь не ты, кто-то другой, тебе играть главную роль в этом спектакле только один раз».

Нахальство слепня наконец пересилило апатичность клячи, и она взбрыкнула крупом. Слепень обиделся и решил пересбрататься на более аппетитную лошадь одного из гвардейцев. Я проследил полет слепня, перевел взгляд на чистое небо...

...и увидел поверх голов на вершине поленицы капсулу!

Эта пародия на лошадь, ходячая мечта Дон Кихота едва переступала ревматическими ногами. Я представил хворостину и начал мысленно ее этой хворостиной стегать. Кляча удивилась, укоризненно скосила лиловый глаз и остаток пути делала вид, что бежит легкой рысью.

Красномордый палач, окутанный густым тяжелым запахом давно не мытого тела, схватил меня за руку с явным намерением стащить с телеги. Я дождался, когда он развяжет мне руки, вырвался, лягнул его напоследок в отвислый живот, проскользнул под брюхом многострадальной клячи, под истеричный вой толпы на четвереньках преодолел поленицу, юркнул в капсулу, захлопнул дверцу и без сил рухнул на сиденье.

Оглушительная тишина. Толчки пульса в висках и немой рев толпы за звукопроницаемыми стенками капсулы. Еще бы,

такого зрелища им больше не увидеть: отступник сам запрыгивает на костер!

Заготовка для костра была колоссальна. Смолистые поленья, любовно переложенные вязанками хвороста. Еще не веря в спасение и повизгивая от счастья, я смотрел сверху на людей у подножия костра, на простолюдинов, поднимающих выше детей, чтобы они смогли насладиться зрелищем казни злодея-отравителя, наглядеться на золоченые кареты знати, на конных гвардейцев, плотным кольцом окруживших площадь.

В дальнем конце площади, на помосте, возвышающемся над толпой, в кресле с высокой спинкой, в окружении дюжины приспешников красовался новоиспеченный Верховный Хранитель. Организовано все было великолепно. Не успел остыть труп Джурсена Нестового, а конклав уже единодушно избрал нового Верховного Хранителя. Конечно же, им оказался генерал Бандини.

На следующий день я предстал перед Священным Трибуналом. О мотивах отравления никто и не заикнулся, считая вопрос этот ясным для обеих сторон. Нужен был козел отпущения, и он свалился им на голову. Он говорит, что он из будущих времен? Отступничество! Связь с Великим Искусителем установлена? А как же протоколы Священной Комиссии? К отравлению причастен? Еще бы, вот показания секретаря, сам он, бедняга, присутствовать не может, утонул. Вопросов больше нет — на костер, и чем скорее, тем лучше, народ требует справедливого возмездия.

В записке, которую я не удосужился прочесть в комнате у Верховного Хранителя, было только три слова: «Не трогай воду», и эскиз платья. Рукав реглан и воротник апаш.

Пламя быстро охватило поленицу, и клубы черного жирного дыма скрыли от меня толпу и помост с ликующей сворой адептов.

Они-то радуются, что сгорает лишний свидетель, а я чего развеселился? Это очень здорово, что сжечь меня решили вместе с капсулой, слов нет, удачная мысль пришла кому-то в голову, уж не моему ли знакомцу? Сгореть я, конечно, не сгорю, стенки могут выдержать и не такое, но будет тепло, даже жарко. А что будет потом, когда у них кончатся дрова? Открыть капсулу они не смогут, да и зачем ее открывать? Недельку поголодаю и

сам вылезу. А потом? Хорошо, если сразу убьют, а если опять застенок? Бандини показывал мне там прелюбопытные места, например, комнату дознаний с колесами, дыбой, шипами, деревянными сапогами, щипцами, иглами, крючьями для вытягивания жил, аккуратными ножичками для подрезания кожи...

И все это для меня. И дематериализатор куда-то делся во время свалки в покоях Верховного. Не иначе, Матео спер.

Воздух в капсуле нагрелся градусов на десять, по стене потекли струйки пота. Порыв ветра отнес дым в сторону помоста, и я злорадно хмыкнул: ну-ка, почихайте!

Еще пять градусов. Пот потек уже не отдельными струйками, а сплошным потоком, застилал глаза. Я зажмурился, а когда снова обрел способность видеть, то чуть не заорал, нет, вру, заорал, да еще как! На табло датчика расхода энергии будто нехотя перемигивали цифры!

Восемь... через несколько секунд — девять, десять. В аккумуляторах появлялась энергия! Капсула оживала!

Костер почти догорел, было невыносимо жарко, но зато на табло — сорок пять! Когда будет пятьдесят — можно стартовать.

К костру пробилась телега с дровами, и в мгновение ока ревнители веры погребли капсулу под новой порцией дров.

Пятьдесят девять, шестьдесят. Можно стартовать, куда-нибудь да вынесет, но чем больше я запаса энергии, тем ближе к дому окажусь. Сухой горячий воздух обжигал горло, и я включил охлаждение. Рост чисел замедлился, зато стало прохладнее.

Девяносто два, девяносто три, девяносто четыре...

Толпа на площади продолжала бесноваться, но уже более сдержанно. Такого количества дров хватит, чтобы изжарить стадо быков, а стенки капсулы даже не закоптились! То ли будет, когда они поймут, что сжечь меня вообще невозможно! А как там поживает мой старый знакомый? Старый знакомый поживал, прямо скажем, неважно: тиара у него сбилась набок, похоже, он адски ругался. Вокруг него сустились адепты, ревнители чьего-то там наследия. По команде к костру со всех сторон тащили стулья, бревна, бочки и вязанки хвороста.

«Ну, милые, ну, еще вязаночку!» — орал я им из капсулы. Каждое полено приближало меня к дому.

Жаль, что нет громкоговорителя, я б сказал Бандини на

прощание несколько теплых слов, горяченьких, прямо из костра. Я бы испортил ему карьеру, я бы... Вру я все, не стал бы я этого делать. Если бы и сказал, то не ему, а тем, кто, выбиваясь из сил, тащит топливо для моего костра. Нельзя обвинять в своих бедах кого-то, сказал бы я им. Пройдет сотня-другая лет, и вы будете показывать на портреты Бандини и плевать в ту сторону. Покажите лучше пальцем на себя, ведь это вы по его приказу тащили дрова для костров, подслушивали разговоры соседей и докладывали в Священную Канцелярию. Это вы создавали эту действительность, и какая она — ваша заслуга.

Сто семь, сто девять. Этого хватит с запасом. Я вдруг заметил у костра девушку. Она не орала и не бросала ничего в огонь, она стояла в новом платье и смотрела на меня. Рукав реглан и воротник апаш. Эллочка. Нет, не Эллочка. Изабелла дель что-то и ибн как-то... просто Мария, так зовут мою бабушку.

Я перехватил ее взгляд, показал на платье с множеством разных карманов, кармашков и застёжек и выставил кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. Она поняла, улыбнулась и помахала рукой. А я утопил кнопку старта, и когда стенки капсулы подернулись долгожданной сиреневой дымкой, услышал, как звякнули, упав, цепи, которыми капсула была прикована к столбу в центре костра.

А может быть, мне это послышалось.

## СОДЕРЖАНИЕ

Эпизодии одного Армагеддона .....	3
Разрушить Илион .....	95
Когда вернешься домой .....	137
Путник .....	156
Вторая петля .....	203

**ТКАЧЕНКО ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ**

**ПАСЬЯНЦ ГИПЕРБОРЕЙЦЕВ**

**Фантастические повести и рассказы**

Ответственный редактор *В. И. Пищенко*

Редактор *О. О. Островская*

Ответственные за выпуск *Е. А. Грушко, Ю. И. Иванов*

Технический редактор *В. Перевертун*

Корректоры *Т. М. Мацкевич, Т. Д. Голандская*

Оформление *В. М. Новикова*

**ИБ 7478**

Сдано в набор 06. 03. 91. Пописано в печать 18. 09. 91.  
Формат 84х108/32. Бумага газетная. Гарнитура литературная.  
Печать офсетная. Усл.-печ. л 11.76. Уч.-изд. л. 14.2.  
Тираж 100 000 экз. Заказ 3258. Цена 5 руб.

Издательско-полиграфическое объединение  
«Молодая гвардия»  
103030, Москва, К-30, ул. Сушеская, 21

Всесоюзное творческое объединение  
молодых писателей-фантастов  
при ИПО «Молодая гвардия»  
278000, Тирасполь-4, а/я 585



Республиканское газетно-журнальное издательство «Дәуір»  
480044, Алма-Ата, пр. Ленина, 2/4

